

ФЕДОР ПАНФЕРОВ

Волжский роман



Волга-матушка река

Удар

Волжский роман

Федор Панфёров

Волга-матушка река. Книга 1. Удар

«ВЕЧЕ»

1953

Панфёров Ф. И.

Волга-матушка река. Книга 1. Удар / Ф. И. Панфёров — «ВЕЧЕ»,
1953 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-7530-6

Роман рассказывает о восстановлении народного хозяйства в послевоенные годы. «Пробуждался огромный город, обосновавшийся со своим древним кремлем на горе-лбище: косые лучи солнца, по-осеннему холодные, только что подожгли стекла в окнах, а по улицам уже загромыхали трамваи, понеслись, мягко покачиваясь, автобусы и тронулись пешеходы...»

ISBN 978-5-4484-7530-6

© Панфёров Ф. И., 1953
© ВЕЧЕ, 1953

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	27
Глава третья	48
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Федор Панферов
Волга-матушка река. Книга 1. Удар

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

Часть первая

Глава первая

1

Вдали от пассажирских пристаней, за слиянием двух могучих рек – Оки и Волги – грудились широкобокие буксиры, юркие, напоминающие сорванцов-ребятишек баркасики, неповоротливые самоходные баржи и шныряли остроносые рыбацкие лодки. Среди всего этого, будто лебеди меж гусей и крякв, красовались белые с голубизной пароходы. Все они – пароходы, баркасики, баржи, грузные буксиры – шевелились, выбрасывали клубы пара, дыма, попискивали, гудели, требуя: «Отпустите нас! Не держите!» И кто-то отпускал: из гущи то и дело вырывался буксир, чаще шустрый баркасик, а временами величаво выплывали пароходы и, отхлопывая колесами такты, направлялись к нефтяным бакам – на заправку.

Пробуждался и огромный город, обосновавшийся со своим древним кремлем на горе-льбище: косые лучи солнца, по-осеннему холодные, только что подождгли стекла в окнах, а по улицам уже загромыхали трамваи, понеслись, мягко покачиваясь, автобусы и тронулись пешеходы.

Все и всюду пробуждалось.

А вот здесь, у пассажирской пристани, стояла настороженная дрема.

Дремал, привалившись к пристани, теплоход, предназначенный для отправки на Астрахань: даже полинявший за лето флаг и тот скрутился и прилип к мачте; дремали, рассеявшись около закрытых еще ларьков и палаток, торгаши, или, как их тут зовут, «измызганные людишки». Склонившись над грудями арбузов, дынь, помидоров, над корзиночками с рыбой, охраняя, казалось, никому не нужную рухлядь – пузырьки из-под одеколona, ржавые петли, развинченные часы, невероятно намалеванные картины на темы из Библии, – «людишки» дремали, как дремлют на крышах одряхлевшие, доживающие свой век галки.

...И вдруг торгаши повернули головы к набережной, возвышающейся над берегом: там, подле вокзала, остановилась легковая машина «Победа», и из нее вышли два человека.

– Ай! – не сдержавшись, словно его неожиданно укололи, воскликнул сивенький старичок и, подхватив корзиночку со стерлядью, кинулся вверх по лестнице.

– Это же власть местная... никогда у нас не покупают, – безнадежно предупредил его сосед, «магазин» которого весь находился на нем, прикрепленный булавками: на владельце висели хотя и новые, но залапанные шелковые ленты, голубой корсет, стеклянные бусы и даже подвечные свечи с когда-то белыми цветами.

– Местных властей, как кур своих, всех знаю, – деловито опроверг старичок и, боясь, как бы его не опередили, еще быстрее замелькал ногами, обутыми в чумчачишки.

2

Два человека, вышедшие из машины, направились к широкой зигзагообразной деревянной лестнице, ведущей к пристани.

Каждому из них было, пожалуй, лет под пятьдесят, но Аким Морев выглядел гораздо моложе академика Ивана Евдокимовича Бахарева. У последнего лицо испещрено глубокими морщинами, напоминающими надрезы на дынях. С этого лица смотрят пытливые, вдумчивые,

порою с искоркой смеха глаза, не утерявшие блеска, и потому кажется, что они принадлежат не академику Бахареву, а юноше Ванюшке. Ростом оба под потолок, только академик пошире в спине и грузней. И еще одно у Бахарева отличие: когда идет, то всем туловищем склоняется вперед, словно норовит что-то подхватить.

– Профессия сказывается, – заметя вопросительный взгляд Акима Морева, глуховатым голосом произнес академик. – Наш род из поколения в поколение – агрономы: в землю смотрим.

– А на небо?

– Небо для нас – существо коварное: мы с ним воюем, как медики с чумой. Вы про Докукина слышали?

По дороге от Москвы академик уже несколько раз упоминал о Докукине. И Аким Морев, понимая, что Иван Евдокимович по-хорошему гордится своим учителем, ответил:

– А как же? Вся печать о нем трубит.

– Дед по линии матери, – впервые сообщил академик и сокрушенно вздохнул. – Трубит. Трубит. Ныне вся печать трубит, а ведь спился, бедняжка.

– Вот как? Человек науки, и спился? – участливо спросил Аким Морев.

– Ухлопал все состояние на эксперименты, остался гол да еще осмеян. Понадобились, дорогой мой, десятилетия плюс советская власть, чтобы научные выводы Вениамина Павловича были признаны, как действенное орудие в борьбе с языком пустыни. Между прочим, его определение «язык пустыни» вошло в агрономический словарь.

Аким Морев ударил кулаком о ладонь, и лицо, до этой секунды свежее, даже с оттенком румянца, покрылось мельчайшими морщинками, а голубые, с золотистыми крапинками глаза остановились.

...С Иваном Евдокимовичем Бахаревым Аким Морев познакомился недавно, хотя немало слышал и читал о нем как о талантливом агрономе, создателе знаменитой засухоустойчивой пшеницы, которая очень быстро распространилась по всему Поволжью, Украине, проникла на Северный Кавказ. И еще Акиму Мореву было известно, что академик уже несколько лет бьется над выведением многолетней пшеницы-пырея. Тут было немало провалов, над чем весьма зло смеялись противники, но хлебобобы, зная устойчивость пырея, с надеждой взирали на академика Бахарева. И недавно в печати промелькнуло, что ему удалось вывести однолетний гибрид пшеницы-пырея, который в Казахстане, Белоруссии, на Украине и Северном Кавказе дал средний урожай триста пудов с гектара.

Ивана Евдокимовича ценили и за то, что он прекрасно знал Нижнее Поволжье, особенно Черные земли, Сарпинские степи, Приуралье. А так как Аким Морев ехал на ответственную работу в Приволжскую область, граничащую с Черными землями, то в Москве ему и посоветовали побеседовать с академиком Бахаревым.

– До чего кстати! – обрадованно заявил тот при знакомстве. – Сам собираюсь в Приволжск. Вдвоем веселей. Только не сразу туда, а на машине до Горького, там сядем на пароход, да и сплывем, как Стенька Разин, по Волге – матушке реке до Астрахани, а из Астрахани через Черные земли в ваш город. Заманчиво? Представляете, какая панорама перед нами откроется?

Акиму Мореву надо было ехать в Нижнее Поволжье, академик звал заглянуть в Среднее, крюк этак тысячи в две километров. Отказаться? Может обидеться... Потом обратись-ка к нему за советом по какому-либо агрономическому вопросу... Но пока Аким Морев прикидывал, взвешивал, Иван Евдокимович подхватил его под руку, вывел из здания академии и усадил в машину, говоря:

– Значит, получили направление в Приволжск? А что там?

– Рекомендуют вторым секретарем обкома.

– О-о! Руль большой. А раньше-то, где вы и что вы?

– В Сибири. Секретарь Новокузнецкого горкома партии.

– О-о! Тоже руль большой. Металлургический завод на пустыре воздвигнут? Знаю, знаю: мой друг, академик Бородин, строил. Образованьице у вас? Инженер? Ага. Багажу-то много ли у вас?

– Чемодан.

– Значит, заглянем ко мне на квартиру, покушаем, переночуем, а утречком завернем за чемоданом и марш-марш.

– Что ж, марш-марш так марш-марш, – согласился Аким Морев, предвидя интересную дорогу и позарез нужную беседу с академиком. «Я его о многом расспрошу: человек он, по всему видать, словоохотливый».

Но как только они, усевшись в машину, выехали из Москвы по направлению в Горький, академик, чуть приподняв воротник демисезонного пальто, поглубже напялив шляпу, замкнулся, точно замок с секретом: никак к нему не подберешься.

«Что с ним произошло? Разговорчивый и даже ласковый был вчера... и вот теперь? – думал Аким Морев, вспоминая, как Иван Евдокимович допоздна куда-то звонил по телефону, с кем-то спорил, часто упоминая фамилию Шпагова. – Хорошая панорамка перед нами откроется, – решил Аким Морев по дороге сюда, чувствуя, как в нем пробуждается неприязнь. – Расхваливали ведь его. Даже Муратов. А он? Глухомань какая-то. А может, они все такие – академики?»

Аким Морев не знал, да и не мог знать про семейное несчастье Бахарева: сын-алкоголик, устроенный на лечение в один из институтов Москвы, рвался на волю, чему, видимо, в угоду академику, способствовали некоторые врачи и даже профессора. Иван Евдокимович яростно протестовал.

– Фур, фур, – порой фыркал он во время пути, мысленно пуша врачей, профессоров, но больше смотрел в окно на суглинистые поля, на леса, иногда произнося что-то похожее на «язык пустыни», возможно, весьма элементарное среди агрономов, но непонятное Аким Мореву...

И сейчас, идя рядом с академиком по лестнице, он думал:

«Опять завернул. Язык пустыни? Что за штука такая? Спросить? А он снова шарахнет. Не хочется быть перед ним дурачком».

– Видите, какая чертовщина плывет? – нарушая мысли Акима Морева, продолжал Иван Евдокимович, сходя бочком по ступенькам вниз, показывая одной рукой на небо, другой придерживаясь за перила.

Аким Морев посмотрел на небо – там медленно, еле заметно, ползла сизо-лиловатая, как наждак, дымка.

– Почему же чертовщина? Уж вовсе не научный термин, – усмехаясь, произнес он.

– Чертовщина-то? А как ее еще назвать? Это микроскопическая пыль, пригнанная ветром из среднеазиатской пустыни. Чуете, какая борьба? Вот на щеке – волна прохлады, это от Волги, а вот – как из пекла – дыхание пустыни. Тут он ослабел – язык пустыни. Пришлось преодолеть тысячекилометровое пространство: Каспий, реки, озера, леса... Шевелит только кончиком. А там, под Астраханью, на Черных землях, в Приволжской области, наверное, так обрушился, что все опустошил.

Аким Морев понял: речь идет о суховее. Но при чем тут какой-то язык? Спросить? Нет, он поступит иначе: чуть подождав, глядя, с каким трудом преодолевает ступеньки Иван Евдокимович, сказал:

– Всякие языки-то бывают...

– Потолкуем на теплоходе, а сейчас нам предстоит вон какую крепость штурмовать. Ступенек четыреста будет? – И снова академик стал спускаться – бочком, придерживаясь за перила так, словно ждал – за следующей ступенькой может оказаться обрыв.

– Четыреста не четыреста, а многовато, – согласился Аким Морев, видя, как снизу взбирается старичок, держа в одной руке корзиночку, другой взмахивает, будто плывет по реке.

– Облисполком местный в наказание горожанам придумал такую лестницу, право слово, – поравнявшись, окая, с придыханием вымолвил старичок. – Свершит кто незначительное преступление, так его без суда и следствия давай гонять туда-сюда, пока шкура не облупится. Право слово.

– Ах, говор-то, говор-то какой: любое «о» с колесо! – восхищенно отметил академик, продолжая спускаться по лестнице.

– Копченой стерлядкой не желаете побаловаться? Царская еда, – уже четко, как бой часов, выпалил старичок, дерзко и требовательно глядя в глаза Акиму Мореву.

В другое время Аким Морев вряд ли бы остановился около подобного торгаша, но сейчас, следя за тем, с каким трудом академик спускается по лестнице, намеренно задержался, чтобы дать Ивану Евдокимовичу спокойно сойти к пристани. Потому и ответил старику, усмехаясь:

– Но ведь мы не цари.

Владелец стерлядки испуганно дрогнул, затем вскинул голову, как конь, когда его вдоль спины вытянут кнутом:

– Хотел польстить, право слово. Продать охота.

Аким Морев захохотал:

– Ах, дипломат шиворот-навыворот. Давно торговлишкой промышляете?

– С малолетства. Купец я был первой гильдии, по фамилии Кукуев. Гремел. По всей Волге гремел. Пароходы мои бегали, баржи. Персидским товаром всю Россию забрасывал.

– И почему ж так оскудел?

– Осознал вредность, – видимо, испытанной фразой, быстро ответил старичок. – Истинно: осознал и в ногу с народом пошел.

– А это что ж, народное дело? – еле сдерживая смех, показывая на стерлядку, произнес Аким Морев.

– А вы купите ее, стерлядку, вот и перейдет к народу.

– Ишь ты. Ну берем. Каюта люкс.

– Всю?

– Мы оптовики.

– Вот тебе и не покупают! – воскликнул старичок и метнулся вниз.

Иван Евдокимович стоял на предпоследней лестничной площадке и смотрел в сторону города такими грустными глазами, словно навсегда прощался с любимым человеком.

Отсюда город был виден так же, как виден, например, памятник, когда к нему подойдешь почти вплотную. Вон вьется гудронированная дорога, убегая в гору, петляя меж увядающих трав, поникших цветов; по хребтине горы тянется кремлевская стена, изъеденная ветрами, морозами, солнцем; на ней тут и там темнеют огромные пятна, похожие на гигантские оспины; за стеной горят на солнце верхушки новых каменных зданий и возвышается купол старинного собора.

«Почему же такая тоска в глазах моего академика?» – встревоженно подумал Аким Морев.

– Вчера, когда вы отправились в обком партии, – начал академик, как бы отвечая на вопрос Акима Морева, – я взял такси и проехался по городу. Жил я тут эдак лет тридцать тому назад. Юнец. Ну, что говорить – все неузнаваемо: узенькие, грязненькие улочки превратились в широкие, светлые; купеческие пузатенькие особнячки вытеснены многоэтажными домами, пролетки – автомобилями, за городом на пустыре вырос колоссальный автомобильный завод со своим городом, пожалуй, большим, нежели старый Нижний; обновился «старик Сормово». В Нижнем кабаков, шинков, притонов, трактиров было – как клопов в кровати у плохой хозяйки. Народ старый облик Нижнего уничтожил. Появились клубы, новые школы,

высшие учебные заведения, дворцы культуры... Все стало другим – дома, улицы, площади, люди. От старого Нижнего остались только вот эти. – Иван Евдокимович кивком головы показал на торгашей, сидящих на песчаном берегу. – Вы думаете, Аким Петрович, это все так себе людишки? Нет. Тут и дворяне, и бывшие купцы, и бывшие владельцы фабричонков, пароходов. Здесь тот самый мирок, который революция отовсюду изгнала... вот сюда – подыхать. А ведь, бывало, они тон задавали, Русью правили. А ныне догорают... как огарок свечи... – Он снова кивнул на «измызганных людишек», затем неожиданно смолк.

– И что ж? – спросил Аким Морев, не понимая печали академика.

– То ж. Этих повыгнали на бережок, а борьба продолжается, да еще какая.

– С кем это?

Академик перевел взгляд на сизоватую, ползущую по небу дымку.

– А вон. Гневный враг в нашей стране.

– Ну уж!

– Вот вам и «уж». Природа, батюшка мой, таит в себе такие злые силы, с которыми нам придется воевать да воевать.

– Ничего не понимаю! – воскликнул Аким Морев. – Все нормально... А у вас? Горесть-то какая в глазах, словно любимого человека хороните.

Академик, почему-то бледнея, сказал:

– В этом городе я провел детство, отрочество... да и...

«Ах, черт бы его побрал, – с досадой подумал Аким Морев. – Оказывается, намеренно затащил меня сюда, чтобы посмотреть на места своего детства и отрочества». И он так стремительно ринулся вниз, что ступеньки под его ногами затрещали, будто по ним пустили бочку с цементом.

– Куда это вы? Куда? – закричал Иван Евдокимович, удивленный поведением Акима Морева.

– Раз тоскуете, оставайтесь и работайте тут, – ответил тот.

– О городе – нет. О молодости – да. Все обновилось, а мой лик, сами видите какой... Ведь так хочется жить... и никогда бы не стареть... А я вот иду по этой лестнице и думаю: «Батюшки мои: по ступенькам и то трудно, а ведь в былые времена здесь никакой лестницы не было – вились тропы... Так мы по ним носились, как дикие козы».

Досада у Акима Морева на какой-то миг стихла: ему по-человечески стало жаль академика, и он даже упрекнул себя в нечуткости, но тут же снова вскипел:

«Кто дал ему право распоряжаться моим временем? Ученый – хорошо! Но он бесцеремонно ворует у меня не часы, а дни».

Академик уже приблизился к нему и, мягко улыбаясь, положил руку на плечо. Аким Мореву показалось, что рука вялая, будто без костей.

«В холе рос: теленочек молочный. Наверное, за всю жизнь сам и гвоздя не вбил. Отсюда такое бесцеремонное отношение к другим. Вишь ты, захотелось на родные места поглядеть – ну и поеду. А то, что другой тратит на это время, – наплевать!» – намереваясь сбросить с плеча его руку, подумал Аким Морев.

Академик между тем продолжал:

– А на работу я отправился туда, где когда-то трудился мой дед, Вениамин Павлович Докукин, – и с силой пожал плечо, однако руку не убрал.

«Докукает он меня своим Докукиным», – чуть не произнес Аким Морев.

Вениамин Павлович нам оставил завет: «Человек любой профессии должен всегда находиться на передовой линии огня». Для нас, агрономов Поволжья, передовая линия огня – Черные земли, Сарпинские степи, Приуралье. Вот и ныне мы с вами отправляемся на передовую, – закончил академик.

– К чему же такой далекий заход? На самолете за четыре часа были бы в Астрахани... а теперь дней пять-шесть потратим. Так на передовую, извините меня, пробиваются только десертиры, – резко вымолвил Аким Морев.

Иван Евдокимович не снял, а сдернул руку с плеча попутчика и гневно глянул в сторону:

– Я полагал, вы человек разумный. Прошу прощения: иного бы и не послали на столь ответственное дело. Но раз вы отправляетесь на передовую линию, да еще командармом, то обязаны знать, что у нас в тылу. Понятно? – и тронулся вниз по лестнице, уже размахивая руками, шагая не бочком, а прямо, как бы кому-то доказывая, что ему хотя и пятьдесят лет, но он не уступит и юнцу.

«Чудак. Тыл какой-то придумал... Или они все такие, академики: что ни состряпает – все хорошо?! Ну, ладно, смирюсь. Но жаль пяти дней. Этак сюда пять, туда пять – всю жизнь и раскидаешь. Лет тридцать бы назад я эти пять дней бросил бы ему под ноги, как пригоршню семечек, – на!» – думал Аким Морев, глядя в спину удаляющегося академика.

«Шут гороховый, – раздраженно думал и Иван Евдокимович. – Привык из кабинетика командовать!»

3

На верхней палубе было пусто: пассажиры, попрятавшись по каютам, очевидно отдыхали. А на нижней, особенно на корме, люди расположились как дома: одни пили чай с блюдечка, вприкуску, другие, удобно пристроившись, свернувшись калачиком, отдыхали, третьи уже сражались в карты, матери открыто грудью кормили детей, где-то заливалась гармошка и девичий голос распевал частушки.

– Бывало, родители мои, как куда ехать, хоть и во втором классе, но обязательно на верхней, – глядя на пассажиров нижней палубы, говорил академик. – Заболтаются, а я нырь на нижнюю, и ищи-свищи.

– Это «нырь-то» из вашего родного города? – еще не приглушив в себе раздражения, спросил Аким Морев, уверенный, что академик намеренно пустил простонародное словечко.

– Нырь? А что? Ныряю. В Волгу-то ныряли с такой высоты, что теперь посмотришь – и то голова кружится.

– Так это вы к нам ныряли: мы всегда на корме занимали места и оттуда посматривали на вашего брата.

– Воздух свежее на корме, – пошутил академик и почему-то приостановился в тамбуре лестницы, ведущей на верхнюю палубу.

– О свежем воздухе мы в те времена и не думали, – ответил Аким Морев, не понимая, почему академик остановился.

– Да уж, конечно!.. – неопределенно проговорил Иван Евдокимович и вдруг четко произнес: – Какая чудесная женщина... посмотрите, до чего русское лицо... Вот так красавица!

Среди пассажиров, одетых во все будничное, на мешке, видимо с картошкой, сидела женщина лет сорока. Она выделялась не только пышным, цветастым сарафаном, но и той особой деревенской красотой, которая нередко поражает горожан. Лицо у нее не холено-нежное, а немного грубоватое, даже скуластое, но подобранное, без лишней жиринки. Вот она засмеялась, и через загар выступил буйный румянец. А большие синие глаза на всех посматривают так, словно ей известны горести, беды и радости этих едущих с ней вместе на пароходе людей. Телом она тоже сильна.

«Вон кто его задержал», – мелькнуло у Акима Морева, и, видя, что академик не трогается с места и не отрывает взгляда от женщины в цветастом сарафане, он в шутку посоветовал:

– А вы ее мужу скажите: он вам покажет красавицу.

– А зачем? Дразнить? Ох! Ну, что вы относительно свежего-то воздуха? – спохватившись, спросил академик.

– Некогда было думать о нем: все время есть хотелось. Пока отец был жив, перебивались с куска на кусок, а как умер – хлебнули горя. Меня, помню, тогда ребята прозвали сорокой.

– Метко: вы юркий... Ну и улыбка же у нее!

– Не за юркость. Мать мне сшила куртку из разных лоскутьев – белых, черных, рыжих... ребята увидели, бац: сорока. Правда, хорошая улыбка, будто солнышко выглядывает из туч, – подтвердил Аким Морев.

– Еще бы. А глаза умные... Где-то я ее видел? Может, на картине? – задумчиво произнес академик и снова Аким Мореву: – Так если бы вы были не юркий, а вялый, прозвали бы индюком. Ну, пойдемте, загляделись. Может, мужу скажете о том, что у жены улыбка, как солнышко.

– Пусть уж скажет тот, кто первый ее отметил, – слегка подсмеиваясь, тепло проговорил Аким Морев.

И они поднялись на верхнюю палубу, взволнованные видом красивой женщины, наверное, потому, что оба были вдовцы...

...Каюта люкс состояла из столовой и спальни с двумя мягкими диванами, обитыми сафьяном. В первой комнате на столе поблескивала сизоватыми острыми спинками аккуратно разложенная на тарелках копченая стерлядь, что, очевидно, было сделано официанткой по настоянию старичка.

Иван Евдокимович, кинув взгляд на стерлядку и, видимо, еще подчиняясь тому волнению, какое проснулось там, на нижней палубе, балагурия сказал:

– А вы, гляжу, Аким Петрович, все-таки урвали рыбешку?

– Урвал, Иван Евдокимович, – со вздохом, как бы сокрушаясь, в тон ему ответил Аким Морев.

– И рассчитались?

– Только что.

– И сколько?

– Пустяки.

– Пустяками расплачиваются нечестные люди. – Вдруг голос академика погрубел: – Сколько с меня?

«До чего занозистый... и... – В уме Акима Морева навернулось такое грубое слово, что он постарался его тут же замять. – Ох, если бы не нужда, ошарашил бы я его», – и все-таки резко произнес:

– А вы, товарищ академик, сходите на берег, выберите себе стерлядку и спросите у торговца, сколько с вас причитается.

Академик сначала заморгал, затем присел на диван, проделал пальцем круг в воздухе и наконец пробасил:

– О-о-о!

– Вот вам и «о-о-о». Нижегородское «о» с колесо. – Аким Морев салфеткой прикрыл стерлядь и позвонил, а когда вошла официантка, сказал: – Второй прибор уберите: мне одного хватит. Что будете кушать, товарищ академик? Спросите?

– О-о-о! – снова выкатил «о» Иван Евдокимович и, хлопая руками по коленям, как гусь крыльями по воде, хохоча, стал выкрикивать: – Ну и ершистый! Нет, нет! Матушка, ступай. Ступай. Мы позовем. Впрочем, коньячку нам «О. С.», икорки там и всякое прочее... Погуляем сегодня, а завтра – шабаш. – И как только официантка вышла, снова колюче произнес: – Ну и ершистый.

– Такой уж, – буркнул Аким Морев, задетый еще и покровительственным тоном академика.

– И кусачий.

– Зубы не выкрошились!

Академик, занимая ответственные посты, привык, чтобы к его суждению, его советам, его словам окружающие прислушивались, а тут столкнулись два таких, привыкших, чтобы к их мнениям относились со вниманием, – все это они только что осознали и потому стали все переводить в шутку.

Теплоход тем временем дал трубный – прощальный гудок, затем весь задрожал, словно от озноба, и начал медленно отчаливать.

– Пойдемте. На палубу. Позавтракаем потом, – почти упрасывая, проговорил Иван Евдокимович и первый вышел из каюты.

На пристани кто-то плакал, кто-то махал платочком, кто-то рукой, группа молодежи кричала:

– Приезжай-приезжай-приезжай!

Вскоре гомон смолк, люди на пристани затерялись: видны только всплески рук – они мелькали, как рыбки в воде... Через какие-то минуты и всплески погасли, а город, как бы приподнятый на чьих-то гигантских ладонях, развернулся во всем своем утреннем величии.

Иван Евдокимович стоял на борту теплохода и, как зачарованный, смотрел на древний кремль, внутри которого горделиво высились новые многоэтажные здания; на красный флаг, развевающийся над кремлем; на центр города, расположенный на горе, омываемой с одной стороны Окой, с другой – Волгой, на ту сторону Оки, где дымил «Сормово», на скверики, бульвары, цепочкой тянувшиеся вдоль набережной. Он, а вместе с ним Аким Морев неотрывно смотрели на город, особенно красивый сейчас, освещенный утренним ярким солнцем, утопающий в багряной осени садов, сквериков, палисадников...

– Да. Вы правы. Я грущу, – тихо проговорил академик, когда город, уходя вдаль, начал постепенно погружаться, словно в океан: сначала все смешалось, слилось, будто под одной крышей, затем город – с его пристанями, стадами пароходов, пароходиков, лодок, бульварами – стал быстро опускаться, и вот уже видны только самые высокие здания, шпили, заводские трубы... и город исчез. – Да. Вы правы... Я грущу. Ведь у меня на земле ныне никого и ничего, кроме агрономии, ученых и учеников, не осталось... Жена в прошлом году скончалась... вот здесь, в этом городе. А детей? Что ж, сын?.. Да, нет у меня сына. Нет. А хотелось бы иметь умного, делового... знаете, такого, чтобы продолжил наш род агрономов.

Стыд вдруг залил краской лицо Акима Морева: у него у самого несколько лет тому назад жена-врач погибла на фронте, и как бы ему самому хотелось побыть на месте гибели.

«Как же это я мог так с ним... за то, что он заехал сюда? Как мог?» – мысленно упрекнул он себя и намеревался было сказать: «Простите меня, Иван Евдокимович», – но тот, опустив голову, произнес:

– Пойду кое-что запишу и... рюмочку выпью. Прошу извинить, что своей тоской, может, и расстроил вас. – С этими словами он зашагал в каюту, но вскоре высунулся из окна и сказал: – Вы, Аким Петрович, не бездельничайте. Смотрите. Внимательно смотрите.

– Ладно. Смотрю, – дружески ответил Аким Морев, но, когда академик скрылся, вновь с раздражением подумал: «Какого пса тут смотреть? Здесь ли Волга, в низовье ли Волга – одна краса. А время бежит, бежит».

4

На третий день пути теплоход, обогнув несколько песчаных кос, миновав узкие горловины, сделал крутой разворот и вышел на необъятные просторы Волги. Здесь левобережье расхлестнул ось такой степью, что казалось, уходило куда-то в бескрайнюю даль. Над обширней-

шими равнинами дрожало голубое море, а из него выглядывало неисчислимое множество стогов сена, и порою чудилось – это пасутся табуны слонов.

«Кормов-то, кормов!» – мысленно восклицал Аким Морев, но будоражило его другое: откуда-то с полей то и дело тянулись отяжелевшие стаи крякв. Иногда они, как бы потешаясь, пронеслись над теплоходом так низко, что были видны ободки на шеях селезней, и, сделав прощальный полукруг, устремлялись в заводы, шлепались на воду, вызывая у Акима Морева охотничье: «А-ж-ж!»

Некоторые заводы настолько были забиты дичью, что он впервые поверил в справедливость выражения охотников: «Ну, там уток пополам с водой». Вон, например, заливчик, круглый, похожий на блюдо. Что там творится! Утки купаются. Они бурно плещутся, поднимая такие брызги, что кажется – всюду бьют миллионы фонтанчиков.

В то время когда Аким Морев смотрел на купающихся уток, на носовую часть нижней палубы вышел шеф-повар в халате, колпаке, держа, словно жезл, длинный широкий нож. Посмотрев во все стороны и не видя подходящих пассажиров, он, вскинув голову, изысканно обратился к Аким Мореву:

– На уток смотрите?.. Это что! Пустяк, косточка. Вы не туда внимание свое ведете: киньте взор вперед и левее – левее на откос.

На нижней палубе неожиданно смолкли песни, смех, залихватская игра на гармошке, и нос теплохода быстро переполнился мужчинами, женщинами, ребятишками – все они сгрудились, притаив дыхание, точно в кино перед началом интересной картины, только кто-то жалобно попросил:

– Эй! Передние! Башки-то уберите: ничего не видать...

– Сейчас, граждане-товарищи, будет «ах»! – возвестил повар.

Впереди на золотистой косе завиднелись черноватые полосы, похожие на сказочных удавов, развалившихся на припеке. Чем ближе подплывал к ним теплоход, тем они становились гуще. Затем стали рубиться на ровные частицы... и вскоре стало ясно, что это рядами сидят крупные птицы. Их было так много, словно они слетелись сюда со всего Поволжья.

– Гуси, – прошептал в тишине повар и сжал ручку ножа. – Ах, мясочко! Сколько его! А чудо где? Вон оно – с небеси валится.

С такой высоты, что казалось, в самом деле откуда-то из глубин неба, на косу стремительно неслись стаи диких гусей. Они, выныривая из сизовой дымки, шли партия за партией – пиками, как иногда на параде идут самолеты, и, опустившись на косу, рассаживались рядами, головой в одну сторону, точно собираясь слушать оратора.

Теплоход уже поравнялся с песчаной косой, усыпанной гусынями и гусаками. Он урчал, вспенивая воду стальными винтами, временами, на крутых поворотах, побряхтывал, как здоровяк, несущий клад в гору, когда, играючи, подкидывает ее, чтобы она удобно легла на плечи. Но гуси почти не обращали внимания на теплоход, только ближние ряды вытягивали шеи и тут же принимали прежнее положение, сосредоточиваясь на чем-то своем, более важном, нежели этот гигант-теплоход.

– Из пулемета бы их! – нарушив тишину, проговорил пассажир в поношенной военной гимнастерке. – Ай из автомата – и куча.

– Еще бы из пушки, – насмешливо посоветовал кто-то.

– Экий стрелок.

– Нет, ты подкрадись.

– Подкрадешься! Он, гусь, птица хитрая.

И снова все смолкло, только повар с томящей тоской произнес:

– Зажарить бы их.

Когда песчаная коса осталась позади, а теплоход уже плыл, направляясь к правому берегу, Аким Морев ощутил, как кто-то пожал ему локоть. Он повернулся и увидел Ивана Евдокимовича.

– А? Гуси-то? – по-юношески улыбаясь и хитровато подмигивая, спросил тот.

– Да. Но... Меня не ради гусей послали, – уже намеренно задиристо, чтобы вызвать академика на разговор, проговорил Аким Морев.

– Вы опять за свое, – сразу помрачнев, пробурчал академик. – Изучайте... и не только гусей. Всматривайтесь в природу, в ее богатейшие ресурсы, в ее величие! Вы понимаете, что такое величие природы? Смотрите. Ну смотрите вон на тот отвал. Вон – прямо. Какой чернозем! Глубиною метр-полтора! Таковы они здесь, черноземы. Да не на одном гектаре, а на миллионах... Что это? Это хлеб, мясо, шерсть, сахар, масло, яблоки, груши, виноград – вот что лежит. Такого чернозема в Приволжской области нет. А я уверен, когда-то был: во время раскопок находят отпечатки папоротника, винограда, на дне рек – в три обхвата моренные дубы... В северной половине области до сих пор еще существуют, верно, жалкие остатки чернозема. Куда делся чернозем? Скушали. Расхитители. Скушали эксплуататорским отношением к природе – к лесам, водам, рекам, земле, – скушали. Сожрали. Что так на меня смотрите? Да. Сожрали. Как? Вырубили леса хищнически. Бояре, помещики, купчишки. Последние ведь не только чеховский вишневый сад вырубили. Они леса уничтожили и этим осушили болота, озера, реки. А к земле относились, как крысы к хлебу. А за ними и мужик так же относился к земле: драл с нее семь шкур, а ей ничего не давал. Вот всем этим и открыли широченнейшие ворота ветрам среднеазиатской пустыни. Зной, вихри, морозы – вот чему дали полную волю. Здесь пока еще все девственно... но и это богатство природы через две-три сотни лет можно превратить в полную пустыню. Пусти только капиталистов: разнесут, растащат, сожрут.

– Эко куда хватили – триста лет, – невольно вырвалось у Акима Морева.

– А вы что ж, живете по принципу – после нас хоть потоп? Имейте в виду, я говорю о том, что через сотни лет сюда могут прийти пески, а оскудение – оно может нахлынуть и через десять – пятнадцать лет, если мы не возьмемся за разум. Вам известно, что когда-то эдемом, то есть земным раем, считалась долина Тигра и Евфрата? Поди-ка ныне в этот рай-эдем... кроме ящериц, вряд ли кого там встретишь. Нас еще спасает Каспийское море. Не будь его, среднеазиатская пустыня уже господствовала бы здесь, и мы с вами не на пароходе бы плыли, а в лучшем случае, окутав голову чалмой, скакали бы, как бедуины. А теперь перейдем на правый борт, – проговорил академик тем тоном, каким он обращался к своим слушателям-студентам. – Видите? – через минуту воскликнул он. – Какая панорама! Швейцария в подметки не годится!

Правый гористый берег, укутанный дремучими лесами, возвышался над Волгой, а деревья макушками уходили в поднебесье. Леса горели осенними красками, словно разноцветными шелками, – оранжевыми, красными, лиловыми, голубыми, желтыми, зелеными. Леса полыхали огромнейшими полотнами, и по окраске можно было определить, где растет береза, где дуб, где липа или сосна. Все буйно сочилось красками и, казалось, затаенно-молчаливо взидало на заволжские степные просторы. Только порою над крутизнами вились орлы и гортанным клекотом нарушали тишину.

– Ну, что? А-а-а! Красота какая! Богатство какое! И принадлежит оно народу. Мы, его слуги, должны это богатство не только беречь, но и приумножать... Из кабинета думаете приумножать? – Академик подбоченился, как школьник, затем добавил: – Изучайте тут все. А я пойду и кое-что запишу.

Аким Морев усмехнулся выходке академика и сел в кресло.

Теплоход шел вдоль крутого, высокого и обрывистого берега, почти касаясь его. Здесь берег был в прослойках наносов, и потому казалось, будто кто-то, сложив сотни разноцветных кож, взял да изогнул их, превратив в мехи гармошки. Из прослоек временами выпячивалась огромная рыжая скала или зияли черные зевы пещер. А над обрывистым берегом, то спускаясь

в овраги, то уходя ввысь, тянулись тропы... И Акиму Мореву страшно захотелось сейчас тронуться туда – к тем изломам, к тем скалам, к пещерам – и побродить в густых, горящих осенними факелами лесах... Может быть, там он встретил бы то, чего не хватало ему в жизни...

5

Ночь легла на реку, на берега, все смяла, стерла, превратив в непроглядную массу. А небо такое низкое, что, кажется, его можно рукой достать... И с низкого неба сыплются в воду мириады звезд. Они колышутся, переливаются, иногда неожиданно пропадают, словно перепуганные мальки, но тут же снова всплывают и, вздрагивая, светятся ярче, чем на небе.

Ветер дует с низовья, из среднеазиатской пустыни. Да он и не дует: он вяло дышит жарой, будто вокруг расставлены таганы с раскаленными углями; в каютах угарно, точно в предбанниках, душно и на открытых палубах. Хочется поскорее и как можно глубже в воду, в студеную, чтобы кости ломило.

Как все резко изменилось...

Несколько дней тому назад было так хорошо, отратно: слева расстилались голубоватые, обширнейшие степи, справа тянулся гористый, заросший лесами, пламенеющий разноцветными полотнищами берег. По несколько часов Аким Морев отсиживал на палубе и неотрывно смотрел на все это, словно читал хорошую книгу: до того все было чарующее, необычное, особенно в Жигулях. Здесь, в долине Жигулей, Волга текла сжатая с обеих сторон гористыми берегами, и порою казалось, она, развалиясь, красуется на солнце, как бы говоря: «Лучше меня все равно ничего не найти».

И вот после Жигулевских ворот все стало резко меняться: пропали дубы, сосны, ели, липы, березы, их вытеснили длинноногие, вихляющие ветлы; откуда-то пахнуло такой жарой, что нечем стало дышать. На зубах хрустит мельчайшая пыль, на губах – соль...

Аким Морев почти не покидал палубы...

Иван Евдокимович как-то сказал ему:

– Оскудевает природа. То-то вот и оно, – ушел на нижнюю палубу и несколько часов пропадал там, а когда вернулся, то, поблескивая глазами, снова сказал: – Оскудевает. То-то вот и оно. А вы на самолете ширк – и на месте приземления. Нет, батюшка мой, так-то можно не государством управлять, а в карты – в дурачка играть.

– Вы что? Глаза-то у вас блестят... Не в буфете ли государством управляли? – спросил Аким Морев.

– Ни. По-украински отвечаю: «Ни». «Нема».

– Нашелся украинец. А где же?

– Развернули на корме такую «прю».

– Не понимаю, что за «прю»?

– Она, знаете ли, настолько мила... И все смеется над заседаниями, вернее над заседательской суетней: «Так наш заместитель председателя колхоза разведет такую «прю». Ловко? Не прения, а «прю».

– Кто же автор «прю»?

– А та. Красавица. – Академик вспыхнул, как юноша, и, чувствуя, что краснеет, отвернулся было, но еще больше вспыхнул, затем махнул рукой: – Ох, до чего же славная женщина... И вовсе не муж рядом с ней, а посторонний... А парень тот – сын ее. Двадцать лет... студент. Муж-то... да... погиб... на фронте погиб. Погиб вот... Да.

– И вы что ж... решили помочь... во вдовьем деле? – в шутку, не подумав, проговорил Аким Морев.

– Не умею, батюшка мой, не умею блудить. Вот чему не научился, тому не научился. А сын-то у нее в Саратове на агронома учится. Смышленный. Да. Смышленный. Вот такого бы

сына! Оказывается, мы с нею старые знакомые: в Москве на совещании встречались. Здорово она выступила в прениях. Особенно запали мне ее слова: «Земля – существо гневное: плохо отнесешься к ней, она с ног тебя свалит». И это ее выражение я даже в одной статье упомянул. Да. – И, почему-то погрузнев, Иван Евдокимович снова отправился на нижнюю палубу, объясняя: – Мы там интересный разговор завели... Почти все пассажиры участвуют. Не хотите послушать, Аким Петрович?

Аким Морев понимал, что если на нижнюю палубу попал известный всей стране агроном Бахарев, то колхозники в него, конечно, вцепились, да и беседы там явно интересны, но от приглашения отказался, сказав:

– Мне надо тыл изучать, как советовали вы.

Сегодня рано утром, когда они распивали чай, в дверь каюты кто-то постучал. Глаза у Ивана Евдокимовича загорелись юношескими огоньками: он, видимо, догадался, кто стучит, и потому вскочил, раскинул руки, приглашая:

– Пожалуйста! Пожалуйста, Анна Петровна! Не ждали, но рады, безусловно. Садитесь... Почаевничайте с нами.

Анна Петровна, блеснув цветастым сарафаном, присела на стул. Аким Морев почему-то был уверен, она застесняется, увидав в каюте его, незнакомого мужчину, но та запросто протянула и ему руку, произнося без всякого жеманства натуральным певучим голосом:

– Рассказывал нам Иван Евдокимович про вас... Так здравствуйте. Я Анна Арбузина из Разлома. Ну, Аната, а за ней Разлом – районный центр. Не знаете?

– Ни разу еще в области не был.

– Так запомните – Разлом. Иван Евдокимович дал согласие побывать у нас. И вы приезжайте.

Аким Морев мельком глянул на академика. У того глаза как бы говорили:

«Видишь, какова она?!»

«Да-а. В такую можно влюбиться», – глазами же ответил он академику и учащенными глотками начал допивать чай, намереваясь оставить их вдвоем, а чтобы не сидеть молча, спросил:

– Сын где ваш?

– В Саратове сошел. В Пермь мы ездили к брату в гости. А оттуда в Горький – тоже к брату. Ох, вот где красота-то! Видели ведь! Леса-то какие! Нам бы в степи хоть капельку лесов таких. А обратно ехали... Местами в берегах – чернозем на метр. Прямо хотелось с парохода на берег перелететь и пригоршнями хватать чернозем.

Иван Евдокимович, погрузнев, тихо произнес:

– Что же... Может быть, переселитесь на черноземы?

– Эх, нет! У меня в Разломе сад. Не мой, положим, колхозный. А и мой: раз что своими руками сделал – значит, и твое. Так ведь? Кроме того – воюем. Со зверюгой-суховеем.

Лицо академика засияло, он даже причмокнул, а Анна продолжала:

– Да и сестрица у меня там живет. Моложе меня на десять лет. Я-то что? Меня сарафан красит, – как бы возражая кому-то, печально говорила она. – А сестрица – прямо в балерины бы, – и засмеялась сочно, густо, заражая смехом даже угрюмого в эту минуту Акима Морева.

– Да вы... хороша, – невольно вырвалось у него, и он, краснея, проговорил: – Ну, Иван Евдокимович, я пошел на палубу – изучать тыл, – и вышел, притворив дверь, но тут же услышал голос академика:

– Не закрывайте, Аким Петрович.

6

Приблизительно год тому назад, когда Аким Морев работал первым секретарем Новокузнецкого горкома в Сибири, рабочие металлургического завода узнали, что неподалеку проездом на Дальний Восток остановился вагон секретаря Центрального Комитета партии Муратова. Конечно, рабочие и особенно комсомольцы, пионеры настойчиво попросили, чтобы Аким Морев немедленно отправился на станцию и пригласил Муратова погостить в новом городе.

Выполняя волю рабочих, испросив разрешение на прием, Аким Морев и направился к вагону. Подходя к нему, с усмешкой подумал: «Что ты, братец, ног под собой не чуешь», – но, войдя, увидев сидящего в кресле Муратова, чуточку успокоился, и совсем успокоился, когда тот поднялся из кресла, шагнул навстречу и произнес:

– Рад вас видеть, товарищ Морев. Садитесь, – и ладонью закинул спадающие на лоб непослушные волосы.

Аким Морев подметил, что Муратов среднего роста, волосы у него густо седеющие, гладко причесанные на пробор, глаза серые с синеватой дымкой, голос юношеский, звучный.

– Садитесь, садитесь. Чем могу служить? – И Муратов склонился к Акиму Мореву.

– Поедьте к нам, – выпалил Аким Морев и какие-то секунды молчал, думая, чем же завлечь на металлургический завод секретаря Центрального Комитета партии: этого так хотят рабочие, жители нового, выросшего на пустыре города. «Начну-ка я вот с чего». И заговорил: – Степи у нас глазом не окинешь. Дичи в них... И главное, уголь. Копни – и гребь, – и пустился в доказательства: – Вот, например, недавно мы заехали переночевать к одному колхознику, попросили хозяйку разогреть курицу. Хозяин полез под печку и вытащил оттуда в кошелке самый настоящий каменный уголь. Спрашиваем: «Там бережете?» – «Нет, слышь, копаю». Полезли сами, смотрим: да, копает.

– Такое я видел на Урале, под Челябинском – в Копейске. А люди?

«Люди? Ах, вот что – люди», – мысленно подхватил Аким Морев и, удобнее усевшись в кресле, спросил:

– У вас найдется минутка?

– Да, конечно.

– Это произошло лет двадцать тому назад.

– В минутку не уложиться. – Муратов безобидно улыбнулся.

– Постараюсь, – уверенно проговорил Аким Морев.

Муратову понравилась напористость посетителя. Внимательно глянув ему в глаза, даже про себя сказал: «Этот добьется своего, но посмотрим, как добивается». И секретарь Центрального Комитета партии приготовился слушать, а Аким Морев тем временем уже говорил:

– Представьте себе, что перед вами раскинулись, уходя вдаль свинцовыми вершушками, горы Кузнецкого Ала-Тау. Леса, леса, глубочайшие ущелья, непроходимые места. И вот мы на конях по звериным тропам пробиваемся в глубь гор. Чем дальше, тем все опасней путь: тропы иногда повисают над головокружительными пропастями, отчего кони шарахаются в стороны и бьются о деревья или скалы. На четвертый день к вечеру сопровождающий нас охотник шорец Иван Иванович сказал:

– Дальше на конях ни шагу.

Оставив коней у его друга шорца, такого же охотника, навьючив на себя походные мешки, мы тронулись пешком. Иван Иванович вообще скуп на слова, но на привалах, у костров, мы иногда вызывали его на разговоры, и однажды он прорвался: передал нам несколько легенд про Кузнецкий Ала-Тау – о заблудившемся охотнике, об орлах с крыльями «в три сажени», о хрустальных озерах, переполненных причудливыми птицами и зверем. Все это было занима-

тельно, но для нас малоинтересно... и только в одну ночь, когда мы уже готовились ко сну, он рассказал нам легенду о горе Темир-Тау.

– Ночью она светится, как солнце, потому что сердце Темир-Тау из железа. Если достать это сердце да сделать из него рельсы, то вполне хватит до луны, – уверял Иван Иванович.

В легенде, очевидно, было много правды: пробиваясь сюда, мы то тут, то там в котлованах наталкивались на руду.

– Вы видели тяжелый рыжий камень? – так Иван Иванович называл руду. – Это пустяки по сравнению с сердцем Темир-Тау. Пригоршня. Вы хотите знать, как добраться к Темир-Тау? Ого! Трудно достать сердце Темир-Тау, – и загадочно смолк.

А мы, группа геологов, во главе со «старым волком», знатоком Сибири, в том числе и я – тогда еще молодой инженер-металлург, – устали на Ивана Ивановича, как моряки в бурю на далекий маяк: все мы были заинтересованы в том, чтобы открыть залежи руды для нового завода. Вы ведь помните, сначала завод строился из такого расчета: уголь к нему будут подавать сибирский, а руду уральскую. А тут, оказывается, есть какое-то железное сердце Темир-Тау. Но никто не торопил Ивана Ивановича. А он, подкинув в костер дров, молчал, думая, видимо, о чем-то своем.

Аким Морев на какую-то секунду смолк, еще не уверенный, надо ли все это говорить. Но, увидав, что Муратов слушает его с большим вниманием, продолжал:

– Сердце Темир-Тау – сердце народа. В горах живет мой маленький народ – шорцы. – Глаза у Ивана Ивановича загорелись радостными искорками. – Они ходят по скалам так же легко, как вы по лестнице в свои квартиры.

– И знают путь к сердцу Темир-Тау? – осторожно спросил начальник разведки.

– Да. Каждый знает. Но каждый закрыл путь к Темир-Тау.

– Почему?

– Сердце Темир-Тау – сердце народа. Не всякому откроешь путь к своему сердцу. – Иван Иванович снова, раскачиваясь перед костром, помолчал. Вдруг лицо его помрачнело, чем-то напоминая неприступность гор Ала-Тау. Подождав, он сказал: – Нас до советской власти называли дикими собаками. Почему мы собаки? Мы – люди. Настоящие люди! – возмущенно воскликнул он. – А те, кто так оскорбительно окликал нас, шли к нам и требовали открыть сердце Темир-Тау. Иногда они пытались применить силу: ловили в долине шорца, приставляли к его затылку пистолет и говорили: «Веди». Тот вел их в горы, потому что там, на равнине, он был бессилен перед пистолетом. Но когда приходил в горы, становился непреодолимой силой... Что вы подумаете здесь, если я покину вас? Скажу: пойду принесу для костра дров – и скроюсь.

Я подумал: в самом деле, что мы будем делать без Ивана Ивановича? На пути было столько троп, столько раз мы переходили через какие-то речушки, так часто Иван Иванович вел нас через бурелом, уверяя, что так ближе...

– Если я вас брошу, вы затеряетесь в лесах, как иголка в бурном потоке... и шакалы будут терзать ваши тела, – добавил Иван Иванович. – И те, кто хотел силой пробиться к сердцу Темир-Тау, погибали здесь, как погибает бабочка от мороза. Так мой народ охранял Темир-Тау.

– Ну а почему ваш народ охранял Темир-Тау? Вы ведь охотники, зачем вам руда? – спросил кто-то из нас.

– Вы, видимо, не знаете, что такое угнетение, – сердито ответил Иван Иванович и ударил по костру палкой так, что искры полетели во все стороны. – Мой народ сотни лет находился под пятой угнетателей. И его оставалось все меньше и меньше: он вымирал. Мы знали, если открыть угнетателям путь к Темир-Тау, то они построят завод и из сердца Темир-Тау станут лить всякие металлические изделия, наживаться, а нас загонят в могилу.

– Вы и нам не покажете Темир-Тау? – с упреком спросил начальник разведки и тоже ударил палкой по костру.

Губы Ивана Ивановича расплылись в улыбку:

– Советская власть открыла путь к сердцу моего народа. Эта дорога приведет к сердцу Темир-Тау. Я ведь не сам принес вам рыжий камень: мне приказал народ мой. Народ сказал: «Иван! Ступай в долину и передай детям Ленина кусочек сердца Темир-Тау. Передай и приведи их к рыжим камням».

Аким Морев смолк.

7

Муратов сидел в кресле и смотрел куда-то вдаль, видимо, мысленно находясь где-то в глухих горах Кузнецкого Ала-Тау.

– Открыт путь к сердцам народов – это великое достижение нашей партии, – наконец тихо проговорил он и снова обратился к Акиму Мореву: – А вы никогда не писали?

– Писал. Стишки.

– Попробуйте прозу.

– Когда выйду в тираж – попробую, – ответил Аким Морев, не сдерживая улыбки, ободренный оценкой со стороны Муратова. – Но я вам еще не все сказал про Ивана Ивановича. Он тогда подвел нас к промышленным запасам руды. Вскоре его вызвал к себе главный инженер, академик Бородин. Знаете его? Я лучше передам все словами Ивана Ивановича: «Он усадил меня в такое глубокое кресло, что я подумал: “Пропал”, – совсем недавно рассказывал нам Иван Иванович. – Усадил и спросил: “Что тебе надо? Хочешь коня – получай лучшего коня. Хочешь машину – получай машину”. Я сижу перед окном и вяжу, как на улице... человек... теперь я знаю, его зовут электромонтер... тогда не знал... Вижу, как человек, прицепив к своим ногам какие-то крючки, ловко взобрался на столб и что-то ввинчивает, вывинчивает там. Теперь знаю: изоляторы. Так я смотрю на крючки и думаю, вот бы их подарил мне начальник. Спрашиваю: “Как называются вон те штуки, что на ногах человека?” Отвечает: “Кошки”. – “Прошу подарить мне, товарищ начальник, эти самые кошки”. Он удивился, а я перепугался: “Видно, дорого запросил! Видно, эти кошки дороже коня и машины: как вознесли человека на столб!” А начальник обратился ко мне и даже с обидой сказал: “Зачем тебе такая дрянь?” – “О-о-о, – возражаю я. – Убью белку, она застрянет на дереве, так я мигом ее достану при помощи этих “кошки”».

Муратов сочно засмеялся:

– Что ж, до сих пор так ему и служат эти кошки?

– Не-ет, – растягивая слово, ответил Аким Морев. – Куда там! Его вскоре послали на рабфак, затем он поступил в институт, и ныне – инженер. Работает у нас же на заводе.

Муратов оборвал смех, глаза его стали сосредоточенными и даже увлажнились.

– Это радостно.

– Да разве только один Иван Иванович? – торопливей заговорил Аким Морев. – Шорцы не имели своей письменности. Ныне они народ грамотный, из их среды вышли хорошие врачи, инженеры, агрономы... у них чудесные колхозы. Поедьте к нам, товарищ Муратов.

Муратов молчал.

– Да разве только шорцы? – продолжал Аким Морев. – А рабочие на заводе, а молодежь? Какая чудесная у нас молодежь! А самодеятельность? Какие у нас тенора, басы, какие балерины!

Наконец Муратов проговорил:

– Очень заманчиво. Но заманчивым нельзя заменять дело: требуется срочно быть на Дальнем Востоке. – Он пододвинул к себе блокнот, что-то там написал, подчеркнул, затем вскинул глаза на Акима Морева: – А что, если на обратном пути мы завернем к вам?

– Будем рады, – кисло произнес Аким Морев, думая: «Ну, уж завернете на обратном пути – жди».

– Так и сделаем, – продолжал Муратов, внимательно всматриваясь в Акима Морева, думая: «Нравится мне этот мужик: за что уцепится... из рук не выпустит».

– Шифровка, – проговорил вошедший помощник Муратова Севастьянов, которого Аким Морев давным-давно знал. Но тут, конечно, они оба в присутствии секретаря Центрального Комитета партии свое знакомство ничем не подчеркнули. Севастьянов лишь кивнул гостю и протянул Муратову лист исписанной бумаги.

Муратов прочитал, посмотрел на Акима Морева и сказал:

– Дела зовут в Москву.

А недели две тому назад Акиму Мореву позвонил из Москвы тот же Севастьянов, сообщив:

– Тебя срочно вызывает Муратов.

– Чего он от меня хочет?

Севастьянов отшутился:

– Я не имел времени вызвать его к себе и расспросить. Пока. – И положил трубку.

Так ничего не узнав, Аким Морев и вошел в комнату Севастьянова.

Тот сидел за портативной машинкой, и по тому, что работал двумя пальцами, было видно – обращаться с машинкой еще не научился. Увидев вошедшего, он приветливо произнес:

– А-а! Сибирячок. – И, несмотря на то, что голова у него острижена наголо, ладошкой вроде убрал со лба непослушные волосы и этим жестом напомнил Акиму Мореву Муратова. – Рановато, – снова заговорил Севастьянов. – Минут десять придется подождать. Там перед тобой два секретаря обкома. Я их предупредил, что Муратов сегодня очень занят... по пяти минут – хватит. Не больше. И ты, пожалуйста, не больше: за пять минут, знаешь, доклад можно сделать.

«Плохое или хорошее меня ждет?» – тревожно подумал Аким Морев и проговорил:

– Сам печатаешь? Машинистки, что ль, нет?

– На некоторые дела машинисток не подберешь, – загадочно ответил Севастьянов и вежливо выпроводил Акима Морева. – Посиди там, в приемной. Как только секретари выйдут от него, иди ты. Только, пожалуйста, пять минут.

«Пять минут? Ну что скажешь за пять минут? Да что это у Севастьянова за мерка – пять минут? И зачем вызвал Муратов? Зачем?» – раздумывал Аким Морев, ожидая своей очереди. Он так разволновался, что не сразу мог разыскать ручку двери, но, переступив порог, увидав веселое, улыбающееся лицо секретаря Центрального Комитета партии, сам невольно улыбнулся.

– Садитесь. Ну, как дела? Иван Иванович как?

– Запомнили? – спросил Аким Морев и, глядя на круглые, висящие на стене часы, подумал: «Уже минута прошла».

– Как не запомнить такого человека! – продолжал Муратов. – Даже рассказал о нем на политбюро. Очень взволновало: шорцы, не имевшие когда-то своей письменности, массами вымиравшие, ныне со всеми народами нашей страны построили социализм. Казалось бы... – говорил Муратов, задумчиво глядя куда-то вдаль, и синяя дымка его глаз еще больше светлела, – казалось бы... как, между прочим, некоторым и кажется... надо бы, после столь тяжкого испытания, как Отечественная война, у тихой речки с удочкой посидеть. Но народ требует деятельности. Он не хочет останавливаться на полпути и настойчиво требует: «Вперед! К коммунизму!» Да, народ, как и мы с вами, не хочет сидеть у тихой речки. – Муратов поднялся, подошел к огромной карте, висящей на стене, и, глядя на нее, продолжал: – Ныне мы строим материальный фундамент коммунизма. Путь к коммунизму не испытан, не изведен... мы впервые прокладываем его... Но победа коммунизма в нашей стране – величайший празд-

ник... А люди-то живут ведь не только праздником – они каждый день едят, одеваются, отдыхают, лечатся, учат детей, учатся сами... И если мы, увлекшись перспективами, забудем о буднях, – народ не похвалит нас: отведет от руководства, просто прогонит. – Муратов неторопливо, вдумчиво говорил о народе, о руководителях, подчеркивая что-то, что пока было еще не ясно Аким Мореvu. Аким внимательно вслушивался в слова секретаря Центрального Комитета партии, но в то же время тревожно посматривал на часы: стрелка показывала, что прошло уже шесть минут. Он заерзал на стуле, с напряжением ожидая, что сейчас Муратов скажет то, ради чего вызвал его, но тот продолжал все так же спокойно:

– Вам, видимо, там неловко: солнце бьет в глаза. Пересаживайтесь поближе ко мне. Вы, кстати, учились, как мне передавали, в горном институте? Я там же учился и в те же годы. Как не встретились? Впрочем, нас было много. А не забыто то, что дал институт?

– Да что вы! Если бы не знал, все равно надо было бы изучать: дело имею с рабочими, инженерами, производством.

– Верно: теперь нельзя управлять заводом, не зная инженерии, как нельзя управлять колхозами, не зная агрономии.

Так они проговорили минут сорок, и только под конец Аким Морев уловил, что Муратов «испытывает» его.

– Знаете что? – Муратов подождал, подумал, а Аким Морев почему-то внутренне дрогнул. – Знаете что? Мы хотим вас рекомендовать вторым секретарем Приволжского обкома партии. Что поблeднели?

– Неожиданно... Но ведь там первый – Малинов? Что я около него буду делать: он – глыба, а я – крошка.

– Малина хороша к чаю. Мать моя очень любит чай с малиной, – холодно улыбаясь и глядя куда-то поверх стола, проговорил Муратов.

Аким Морев понимал, что Муратов ему о Малинове всего сообщить не может, что он полушуткой: «Малина хороша к чаю», – уже на многое намекнул и этим самым сказал: «Езжай-ка, товарищ Морев, присмотришься к Малинову, а мы в это время присмотримся к тебе: как ты поведешь себя, не наломаешь ли дров. Ведь и Малинова мы рекомендовали, а теперь, вишь ты, как приходится выражаться: «Малина хороша к чаю». Все это Аким Морев понимал и, однако, настойчиво воскликнул:

– Малинов – герой Отечественной войны.

Муратов заговорил уже сурово:

– За героизм во время Отечественной войны Малинов получил сполна, правительство наградило его орденами, поэтому вредно напоминать: «Я во время Отечественной войны сделал то-то и то-то». – Муратов снова подошел к карте, тупым концом карандаша обвел Приволжскую область, произнес: – Разобраться тут надо: слишком много говорят о преобразовании природы и почти ничего не делают во имя этого. – Он улыбнулся Мореву. – Вы не торопитесь, товарищ Морев. Сегодня вечером позвоните. Продумайте и позвоните. Но отказываться не советую. Перед поездкой в Приволжск обязательно побеседуйте с академиком Бахаревым: прекрасно знает Поволжье, что очень пригодится вам, – говорил Муратов уже так, как будто вопрос о работе Акима Морев в Приволжской области давным-давно решен.

– Но ведь я не агроном, – смущенно возразил Аким Морев.

– Если бы Центральному Комитету партии нужен был только агроном, мы вас не тревожили бы. Мы вас переводим из Сибири не в наказание, а потому, что нам нужны настоящие командиры на юго-востоке, особенно в Приволжской области: здесь ныне основной фронт. – Муратов, поднявшись, подал руку Аким Мореvu. – Подумайте. Но отказываться не советую.

– Я в полном распоряжении Центрального Комитета партии, – произнес Аким Морев и вышел, затем пересек приемную, заглянул к Севастьянову.

Тот встретил его упрёком:

- С ума сошел: сорок восемь минут вместо пяти.
- Дела задержали, друг мой!

8

И вот Аким Морев подплывает к Приволжску.

Теплоход почему-то дольше положенного времени задержался в Саратове, затем в Сталинграде и потому вместо вечера прибудет в Приволжск поздно ночью. Можно было бы взять такси и предварительно осмотреть город. Но куда ночью поедешь? Да, кроме того, капитан теплохода сообщил:

- Стоять будем минут пятнадцать.
- Это вместо четырех-то часов, как полагается? – спросил Аким Морев.
- Опаздываем. Примем пассажиров – и пошел. Тем паче нам надо попасть в Астрахань по расписанию.

Капитана вся прислуга теплохода за глаза звала Тем Паче: любил он эти слова и втыкал их где надо и где не надо.

Предстоящая встреча с новым городом волновала Акима Мореву гораздо сильнее, нежели волнует встреча с родителями, которых долго не видел, или с возлюбленной, о которой стосковался. Как его примут в этом городе? Да и примут ли? Ведь могут не выбрать. Или, что еще хуже, отнесутся к нему не только спокойно, но и безразлично: «Ну, прислали и прислали. Посмотрим, что за воробей». Волновало его и то, что он, по выражению Ивана Евдокимовича, выезжал «на передовую линию огня».

«Но ведь ты не первым будешь там», – мелькнуло у него успокоительное, но он тут же вспомнил слова Муратова: «За геройство Малинов получил сполна...» Почему такое отношение к Малинову? Не временно ли меня посылают вторым? Не метят ли в первые? Если это так, значит предстоит борьба: тот без боя позиции не сдаст. Да и что с ним случилось? Ведь гремел. «Гремел, да и догремелся. Нельзя в партии греметь», – как будто кто-то со стороны подсказал Аким Мореву.

Ныне он ехал в Приволжск на работу, а ведь когда-то... И вдруг перед ним всплыла одна из ярких картин детских лет...

Это было очень давно.

Отец, плотник, вместе с матерью, прихватив маленького Акимку, отправился из деревушки Яблоньки в Баку на заработок. Акимка все время, плача, просил:

– Хлебца...

Как только они сели на пароход, заняв место на корме, отец сразу же сказал, утешая:

– Вот, сынок, доберемся до Приволжска, там непременно пойдем в обжорный ряд. Эх! За пятак щей ешь сколько влезет, положим, из требухи. Положим, со своим хлебом. Купим хлеба и пойдем в обжорный ряд. Уж ты, брат, потерпи. Зато в обжорный ряд пойдем. Рядом с пристанью – на берегу.

Так они и плыли в надежде попасть в красочно разрисованный отцом обжорный ряд. Через несколько дней показался Приволжск. Это был городок почти сплошь из деревянных домиков, крыши которых не только посерели, но еще и покрылись рыжеватыми мхами. Акимка тогда не обратил особого внимания ни на домики, ни на их крыши, ни на узенькие улочки: им овладела подгоняемая голодом мечта о том, как бы скорее попасть в обжорный ряд.

Отец, когда пароход подплывал к пристани, подвел Акима к борту, сказал:

– Пойдем, сынок, город издали посмотрим... и малость проветримся.

Акимка, держась за штанину отца, теребя ее, нетерпеливо шептал:

– Айда! Скорее! Ну, проветрился, и ладно. А то расхватают.

– Не расхватают, сынок. Всем достанется. Если бы бары ходили в обжорный ряд, то действительно расхватили бы – жадные. А мы что ж? Щи в чаны сливать не будем. Поедим вдовсталь – нам больше ничего и не надо. Да если бы и надо было – денег нет.

Вот он, обжорный ряд, – прилавки под деревянными навесами, вытянувшиеся по одной линейке, порезанные перегородками. За каждой перегородкой вмазан котел, в котором бурлят щи из рубцов и коровьих голов. Около котлов бабы в засаленных, почерневших фартуках. Получив пятак, они огромными ковшами наливают щи в блюда и ставят их перед посетителями, которые сидят за прилавками, каждый придерживая рукой свой хлеб... И едят – смачно, сочно, с азартом. Потом выбираются на волю, отяжелевшие, переваливаясь с боку на бок, отправляются на пароход, умиленно произнося:

– Вот это пожрали! Ах, пожрали!

Не зря Приволжск хвалится на всю Волгу обжорным рядом.

...Аким Морев взобрался наверх, в капитанскую рубку, и, посмеиваясь, рассказал обо всем этом капитану.

– Ну! Помину от того не осталось. Город обновился с ног до головы. Тут дома такие были – чудо. Площади – чудо. Все, конечно, во время войны превратилось, тем паче, в лом и щебень. Сейчас, глядите, вывернемся из-за крутизны, и, тем паче, перед нами – городище.

Вскоре в самом деле перед Акимом Моревым развернулось море огней. Они тянулись широкой полосой вдоль берега и уходили полукругом куда-то вдаль – еле видать. Огни дрожали, переливались и манили, звали к себе. Было что-то странное в них. В начале города – это видно по свету в окнах – стояли многоэтажные здания, и дымились высокие трубы, чуть заметные во мраке.

– Завод, автомобильный, – пояснил капитан. – Восстановлен окончательно, а дальше, особенно в центре, город еще только-только выбирается из руин: тут дом растет, там дом растет, а вокруг развалины, тем паче, – битый кирпич и щебень. Оттого, глядите, только и светятся уличные фонари, а под ними – вроде темные ямы. Так кажется ночью, а днем видать черные пятна. Пусто. А те во-он, далеко, огни-то загнулись, вроде клюки, – там конец городу.

– Сколько же приблизительно километров до того места?

– Отсюда? Километров шестьдесят.

– Шутите.

– Это не диво – шестьдесят, тем паче, Сталинград вытянулся на сто, Саратов – на семьдесят. Диво – другое. С врагом тут, знаете, как дрались? Всех, кто от Гитлера сюда пришел, в прах превратили. Ну, однако, сейчас приставать будем. – И капитан дал гудок.

Трубный зов прокатился над Волгой, и теплоход, разворачиваясь, стал причаливать к пристани.

– Пойду хоть прикоснусь к земле, – решил Аким Морев и быстро вышел на пристань, сталкиваясь с пассажирами, которые валом валили на теплоход, затем намеревался было подняться по лестнице, на крутизну, но, заслыша гудок, направился обратно и здесь был немало удивлен.

С теплохода шла Анна Арбузина, неся чемодан, а за ней, взвалив на плечи мешок, видимо с картошкой, шагал да еще о чем-то на ходу рассуждал академик Иван Евдокимович Бахарев.

– Интересно. Интересно, – с усмешкой прошептал Аким Морев и посторонился.

Анна Арбузина и академик сошли на берег. Иван Евдокимович свалил мешок с плеча, даже придержал его над землей, словно боясь разбить в нем хрусталь, и произнес:

– Зачем же это вам понадобилось в такую даль репу везти?

– Подарок. Что же поделаешь, Иван Евдокимович: подарки выбрасывать грех. Ну, теперь не беспокойтесь: я уж сама найду путь-дорогу.

– До свидания, Анна... Петровна, – глухо проговорил академик и в порыве нежности поцеловал ее руку.

– Да разве так прощаются хорошие люди? – запротестовала та и, обтерев рот кончиком косынки, крепко обняв Ивана Евдокимовича, поцеловала его в губы и раз и два. – Вот так-то, Иван Евдокимович. – И густо рассмеялась. – Теперь-то уж куда ни поедете, хоть на Север, хоть на Южный полюс, все одно ко мне не миновать...

– Да-да. Конечно. Да-да. Непременно. Да. – И академик, будто его кто силой оторвал от Анны, качнулся к теплоходу, затем быстро побежал по мосткам.

«Ну и ну. Междометиями заговорил. Впрочем, рад я за него», – шагая за академиком, подумал Аким Морев и, поднявшись на нос теплохода, сел в свое излюбленное плетеное кресло...

Проснулся он, когда солнце золотило верхушки мелкого кустарника-ветляника, песчаные длинные косы... и дюны. Они виднелись всюду, будто застывшие волны.

«Что такое? Где это я? – протирая глаза, подумал Аким Морев и, окончательно просыпаясь, понял, что сидит в том же плетеном кресле, в котором устроился несколько часов тому назад. – Заснул. Вот это да».

– Но что такое? – в тревоге прошептал он, глядя на правый обрывистый и плоский берег, покрытый песчаными дюнами, мелким кустарником и кое-где желтеющей травкой...

Злой ветер, словно гигантским рашпилем, сдирает с обрыва рыжую землю и тучей бросает пыль на Волгу, отчего река покрылась не то ржавчиной, не то кровью. Временами на берегу появляется деревушка, село. Улицы песчано-пепельные, без единого деревца, а крыши хат покрылись мхами.

– Батюшки мои, да что же это такое! – воскликнул Аким Морев.

– Плыдем в пекло, – прогудел рядом с ним Иван Евдокимович, и Аким Морев увидел, как у того в глазах грусть борется с чем-то очень радостным, и, понимая, почему такое происходит с академиком, сказал:

– А на душе-то у вас другое пекло.

– От этого природа не меняется, – заявил академик, давая знать, что он не желает говорить о том, что творится в его душе. – Завтра, послезавтра вы увидите зачатки самой настоящей пустыни... Прямо скажу, вы увидите, как Кара-Кумы шагнули через Каспий и легли там, где когда-то была цветущая растительность. А вы на самолет – ширк и в Астрахань.

– Ошибался, прошу прощения.

– И то... А когда мы с вами пересечем на машине Черные земли, тогда вы по-настоящему познаете передовую линию огня и полностью тыл. Вот что, – хитровато улыбнувшись, сказал академик. – В Астрахани купим ружья.

– В злые силы природы палить?

– Видите ли, от Приволжска тянется бывшее русло Волги почти до Черных земель. Оно обозначено на карте цепочкой озер. Дичи там – пушкой не прошибешь.

– Втроем бы поехать, – снова решив подшутить, произнес Аким Морев.

– Что? Как? – недоуменно спросил Иван Евдокимович и, догадавшись: – А-а-а-а. Мы к ней заедем. Да. Заедем. Непременно. Да.

«Опять заговорил междометиями», – любовно посматривая на него, подумал Аким Морев и, поднявшись из кресла, добавил:

– Пойдемте поспим маленечко: молодым людям надо силы накапливать. Значит, на Черных-то землях вы давненько не были?

– Давненько, – ответил академик, идя за Акимом Моревым.

– Чего же это вы с передовой линии огня убрались?

– В Москве воевал. Знаете, какой бой пришлось выдержать с агрономами-консерваторами. Так что передовая линия огня там находилась. Ныне она перенесена снова на юго-восток, и я готов на переселение.

– Оказывается, вы воин: и на природу и на дичь с ружьем.

– А вы задира.

– Есть малость... В данном случае от доброты сердца... Рад я за вас, Иван Евдокимович. Видел, как репу на бережок доставили. То по лестнице вниз ножки не шагают, а тут, вишь ты, мешок репы, как перышко, донес.

Глава вторая

1

Астрахань меньше всего интересовала Ивана Евдокимовича: мысленно он уже находился там – на Черных землях, в Сарпинских степях и, как опытный полководец, приближаясь к передовой линии, начал дорожить каждой минутой.

– Рыбий городишко, – с оттенком презрения произнес он, когда теплоход причаливал к пристани.

И верно, отовсюду несло густым запахом рыбы, а к этому еще примешалась несусветная жара, какая-то тихая, спокойная, но до того палящая, что казалось, их обоих посадили в ящик, поставили под солнце – кали немилосердно!

– Осенью – дышать нечем, а летом – умирай. Купчишки городишко строили: дрянненький, грязненький, – пояснил академик. – Так что, Аким Петрович, давайте заглянем в обрис-полком, попросим машину – и марш-марш на Черные земли.

Но, попав в центр, они были неожиданно порадованы чистотой гудронированных улиц, красивыми жилыми домами, зеленью и особенно парком: в нем под могучими акациями стояла приятная прохлада, и потому его не хотелось покидать.

– Тю-ю, – со свистом протянул академик. – Переворот в городе свершился... Но ведь это не купчики сделали, а советские люди! – как бы с кем-то споря, воскликнул он.

Вне парка стояла жара.

Ивану Евдокимовичу дышалось трудно, а из-под шляпы горошинами катился пот на виски, на плечи. Академик то и дело смахивал его батистовым платком, который вскоре превратился в мокрый комочек.

– Вот это жмет. Заметили, в городе нет толстых.

– Разве только приезжие... да и те не совсем толстые и не совсем тонкие, – глядя на академика, полушутя подтвердил Аким Морев.

– Вот именно – не совсем толстые, – охотно согласился тот. – Ну, и дави, – как бы приказывая жару, добавил он. – А там, в степи, будет еще круче... глядишь, килограммчиков десяток дряни из меня и выпарит. Поскорее бы туда. Ну, поехали.

– Только кремль... кремль посмотрим, – предложил Аким Морев, прибавив шагу, но академик придержал его за руку.

– Куда несетесь сломя голову? Черт-те что! Я вам ровесник, а прыти у вас! Порошки, что ль, секретные принимаете? – и изучающе посмотрел на будущего секретаря обкома.

Аким Морев был вровень ему, но поджарый, потому на ногу легкий, и лицо у него совсем молоджавое... Конечно, молоджавое по его годам: не юноша ведь... И академик повторил:

– Порошки, что ли, принимаете секретные?

– Да. Те самые, что вы приняли, когда мешочек с репой на бережок доставили.

– Шутите все. Однако верно: те порошки омолаживают.

Вскоре они попали в древний кремль, где собор, церквушки, домики – низкие, с маленькими окошечками-бойницами – доживали свой век, как доживает старичок, умирающий смертью-сном.

– А ну их! – сказал Иван Евдокимович. – Конечно, все это интересно – старина. Как же? Однако я сие могу увидеть в книжках. Пошли до гостиницы... и на Черные земли. Впрочем, в магазин зайдём, ружья купим. – Но, выйдя из кремлевских ворот, он остановился: на стене, как это бывает на скалах морского берега, виднелись ровные и длинные выбоины. – Да неужели сюда когда-то подходила Волга? – спросил академик.

– Нет, не Волга, – проговорил рядом стоявший худой, загорелый дочерна астраханец. – Здесь во времена Петра Великого по стене хлестали волны Каспия. А ныне, он, Каспий, вон куда от нас убежал – за шестьдесят километров, а то и дальше.

– Значит, здесь хлестало по этой стене? Видите, что творится в Поволжье? – обращаясь к Акиму Мореву, горестно произнес Иван Евдокимович. – На шестьдесят километров отступил Каспий. На сколько же по окружности сократилось водяное зеркало! Отсюда – обессилел и удар по суховею. – Он достал книжечку и что-то записал.

«Напал на свое», – подумал Аким Морев, с восхищением глядя на то, как Иван Евдокимович наклоняется, шупает продольные борозды на стене.

– Так-так-так, – произносил тот, шагая вдоль стены, затем вскинул руку с книжечкой и потряс ею: – Вот еще доказательство, как безобразно человек относился к природе.

Побывав в облисполкоме, где им предоставили машину, закупорив ружья и припасы, они пошли в гостиницу, решив на зорьке отправиться в путь...

И всюду, где бы они ни находились, у Ивана Евдокимовича нет-нет да и прорывалось:

– Каспий-то, а? Вот так Каспий! – Даже ложась в постель, он произнес, словно говоря о человеке, которому верил, считал его честным, а тот неожиданно проворовался: – Вот так Каспий.

– Спим, – посоветовал Аким Морев.

– Спим, – согласился Иван Евдокимович и выключил свет, но заснуть не смог. То вставал, открывал окно, шепча: – Духота проклятая, – то снова ложился, ворочался, поскрипывая кроватью, затем опять поднимался, закрывал окно, бормоча: – Черт-те что, под нами фокстрот долдонят... видимо, в ресторане.

Мучила его, конечно, не духота и не обычная бессонница после сытного ужина. Вот и теперь, когда звуки фокстрота доносились уже совсем глухо, когда он сам удобно улегся на кровати, намереваясь наконец-то уснуть, – вот и теперь все равно сон не шел к нему.

«Мне уже пятьдесят, – думал он. – Полвека. Половину жизни я потратил на борьбу с суховеями. А что сделал? Вывел засухоустойчивую пшеницу. При лучших условиях она дает двести пудов с гектара. При лучших. А при худших? Худших-то больше. Деревянный кинжальчик – моя пшеница. С такими кинжальчиками и кинулись мы на страшного врага – на суховея. И спорим, деремся – кто первый с деревянным кинжальчиком кинулся на злейшего врага. Воины! Что и говорить. А знаем ли мы, какое орудие надо выставить против злейшего врага? Вряд ли. Ведь даже наши великие предшественники, как Докучаев, Костычев или тот же мой дед Докукин, Вениамин Павлович, все они вели опыты на крошечных участках, даже Вильямс и тот имел самую большую площадку – колхозное поле. А ныне дано – вести наступление широченным планом: всей страной, всем народом. Пригодны ли мы, генералы от агрономии, к борьбе на таком широченном фронте?!» – Эта мысль мучила академика и не давала ему заснуть.

– Аким Петрович, – позвал он робко. – Спите, голубчик?

– А как же? – сквозь сон ответил тот. – На то и ночь.

– Да. Но пора ехать, – строже добавил академик.

Аким Морев включил свет, посмотрел на часы и удивленно произнес:

– То ли часы у меня шалют, то ли академик шалит: всего-то минут пятьдесят я спал. До зари долго. – И закрыл голову одеялом.

– Нет. Пора. Пора, я говорю.

– Да что с вами, Иван Евдокимович? – встревоженно проговорил Аким Морев, глядя, как академик стаскивает с себя ночную рубашку, выказывая желтоватые наплывы жирка на боках.

– Не спал. Не сплю. Не усну. Вот и «что с вами». Поехали. В дороге вздремнем, а тут – в духоте этой... Провалиться бы ей, – не высказав того, что мучило его, проговорил академик.

– Сочувствую, хотя спать хочу – страх. – Аким Морев оделся, умылся, затем налил из термоса два стакана чаю и позвонил в гараж. – Разбудите, – говорил он кому-то по телефону. – Сейчас же. Едем. Срочно. Он знает куда и знает, где мы.

Вскоре появился шофер, шустрый, говорливый, и по-военному отпартовал:

– Сержант Ахин, Федор Иванович, на боевом посту. Стрела моя с нетерпением ожидает вас у подъезда. Что прикажете?

– Эге. Молодец какой! Прикатил? А что за стрела? – любясь его видом и расторопностью, спросил академик.

– Стрелой зову свой вездеход – «газик». Ему нет препятствий, всюду летит как стрела: грязь – давай, болото – давай, речка – давай, лишь бы не захлебнуться. Иной раз думает: «Вот ежели бы еще мне научиться летать, тогда авиацию побоку».

– Так и думает? Машина?

– Точно. Думает. А может, я за нее, – чуть-чуть оторопев, проговорил шофер, но тут же снова начал сыпать словами.

– Садитесь, Федор Иванович. Чайку, – предложил Аким Морев.

– Эх, грамм бы сто с прицепом.

– Что за новая доза?

– Сто грамм водки и кружку пива.

– Ловко. Но чего нет – того нет.

Увидав ружья и припасы, шофер, не то хвалясь, не то как бы мимоходом, весь изгибаясь, почесывая затылок, произнес:

– А я, между прочим, винтовочку прихватил.

– Зачем? – спросил академик, глядя на него тяжелыми от бессонницы глазами.

– Волчишки могут подвернуться... ай тот же сайгак.

– Ведь запрещено сайгаков-то бить?

– А мы с научной целью. Вы же академик, вам положено знать, что там внутри у сайгака, почему, значит, он так скачет и по ночам скулит-плачет. А притом разрешили бить козлов, – хлопая глазами, делая наивное лицо, выпалил шофер.

– Ну и предприимчивый, – только и мог ответить Иван Евдокимович.

– Со мной не пропадешь, – твердо заверил Федор Иванович и, подхватив два чемодана, пошел к выходу.

2

Был поздний час, и город уже спал...

Спали магазины, лабазы, дома, дремали пустующие улицы. Около фонарей сонно вились тучи мошкары. Только Волга жила своей особой жизнью: отовсюду неслись разноголосые гудки, то густотрубные, то пронзительные до визга, то пискляво-гневные, напоминающие людей злых, но бессильных.

Во тьме не было видно ни пароходов, ни барж, ни баркасилов, но всюду что-то урчало, хрипело, било по реке лопастями и подмигивало разными светящимися глазами – один красный, другой зеленый. И по тому, как эти фонарики передвигались, мелькая то тут, то там, можно было заключить: на реке шла своя большая ночная жизнь.

Когда машина выскочила на паром, Аким Морев, облокотившись о крепкие перила, неотрывно стал смотреть на ночную Волгу, пригласив и Ивана Евдокимовича.

– Дорогу знаете? – спросил шофера академик.

– Дорог на Черных землях полно. Куда прикажете?

– Держите на Сарпинские озера.

– Бывал, – ответил шофер так, словно его просили зайти в знакомый киоск и купить там пачку папирос.

«Самоуверенный. Опасные такие шоферы», – подумал академик и, чтобы проверить Федора Ивановича, снова спросил:

– Километров двести пятьдесят будет?

– С гаком. А ежели собьемся, не в ту сторону ударимся, так-то может вырасти километров в триста.

– И такое бывает? – вмешался Аким Морев.

– Степь-матушка. Туда глянешь – ничего не видать, сюда глянешь – ничего не видать. Туда-сюда километров на двести – триста ни жилья, ни забегаловки, ох, горе мое. Сбился и считай – погиб в расцвете сил.

– Вот и завезете нас туда, где «считай – погиб в расцвете сил», – проворчал Иван Евдокимович, забираясь в машину. – Спать, – сказал он, удобно устроившись.

Федор Иванович некоторое время молчал, видимо занятый какой-то своей мыслью, затем, встрепенувшись, сказал:

– Ох, нет. Глаза завяжи – найду. Впрочем, на Сарпинском я был года три, а то пяток тому назад. Дичи там – ух! Попалите. Ружье раскалится до огненности: стволы кипят.

– Как же из него стрелять, ежели оно огненное, – сдерживая смех, произнес Аким Морев.

– А так уж. На то и охота. Впрочем, руки в воду обмакнешь и за ружье. Выпалил, и опять в воду, – нашелся с ответом шофер и сам рассмеялся. – Минутку терпения, – сказал он, сводя машину с парома. А когда свел ее на правый берег Волги, снова начал: – Я вот вам расскажу про собаку. Гончая, сука у меня была, – но тут же услышал, как издал легкий посвист задремавший Аким Морев. – Эх, не дослушали, – сокрушенно проговорил Федор Иванович и обратился к машине: – Ну, Стрелушка, ведь не впервые нам: всегда по ночам наши пассажиры спят. Да мы с тобой не дремлем. А ну-ка, прибавь газку. Давай-давай-давай, – легонько вскрикнул он и затянул какую-то древнюю песенку – не то татарскую, не то калмыцкую. Временами он обрывал тягучий мотив, полупшепотом рассуждал то со Стрелой о своих делах, жалуясь ей на то, что жена, провожая, отобрала поллитровочку, и на то, что завгаражом вчера косо посмотрел на него, заявив: «Ты, Федор, закладывать брось».

А я и не закладываю. Стрелушка, сама знаешь, ибо ты мой единственный честнейший свидетель: видишь, пью умеренно. Оно, конечно, когда водка своя, а ежели поднесут – тут пей сколько влезет. А вот еще хочу я, Стрелушка, домик срубить. – Он шептал больше часа, выдавая Стреле все свои затаенные помыслы, уверенный, что никто, кроме машины, его не слышит.

Но Аким Морев уже не спал.

Он напряженно и с большим удивлением смотрел на то, как машина, несясь по равнинной дороге, разрезая фарами тьму, освещает по обе стороны то дубравы, то березовые рощи.

«То ли спросонья это у меня, то ли в самом деле тут густые леса растут? А говорили – гладь», – думал он, вначале не решаясь спросить шофера, чтобы не показаться наивным, и все-таки спросил:

– Леса-то тут... какие? Дуб? Сосна?

– Одно воображение. Вы откуда?

– Из Сибири.

– О! Матушка Сибирь. Там да – леса. А у нас под Астраханью что? Коблы. Ветлу коблом прозывают.

«Ну вот, начал рассусоливать», – подумал Аким Морев, всматриваясь в леса, освещаемые фарами машины.

И как он был удивлен, когда на заре увидел по обе стороны дороги только пустующую степь! И еще больше его поразил восход солнца.

В предгорье Кузнецкого Ала-Тау Аким Морев десятки раз наблюдал, как медленно поднимается солнце: оно сначала бросает лучи на верхушки гор, откуда потоки, точно золотистые реки, стекают вниз, а само солнце еще где-то кроется, словно осматривая, прощупывая все, боясь попасть впросак... и только через час или полтора оно появляется на небе, будто говоря: «Ну вот наконец-то и я».

Здесь, в степи, все было необычно: солнце, вонзив лучи в края облаков, тут же выскочило и моментально заиграло в разноцветных травах обширнейшей равнины. Удивительно было Аким Мореву видеть и эти разноцветные травы: они лежали огромными пятнами – тут чересчур зеленые, там вон – сизые, будто наждак, а вон – голубые, пестрые, красные, как маки. И все низенькие, точно подстриженные. Казалось, кто-то всю степь устлал коврами причудливой вышивки, и Аким Морев не мог от всего этого оторвать глаз.

– Где мы? – спросил он шофера.

– На Черных землях, – ответил тот.

– Черные земли?

В представлении Акима Морева было: Черные земли – значит, богатейшие черноземы, а тут земля рыжая, местами сизые плешины, будто умазанные глиной. Сейчас глина растрескалась и квадратиками задралась.

– Почему же Черные, когда рыжо? – опять спросил он шофера.

– Снегу почти никогда не бывает, потому и называются Черные. Им здесь конца-краю не видать.

– Не земля, а горе, – проговорил Аким Морев, досадуя.

– Нет, не горе, – проснувшись, ответил Иван Евдокимович. – Земля богатейшая. На такой временами урожай бывает до тридцати центнеров с гектара... Но все зависит от того, как небушко на нее глянет. Да и не за зерном мы сюда направляемся, а за мясом, за шерстью, за сырами, за маслом, за рогатым скотом, за конским поголовьем и за садами. Давайте-ка посмотрим, – он выбрался из машины, весь собранный, сосредоточенный, напоминая собой хирурга перед сложной операцией.

– Вот, – сорвав траву, похожую на карликовое деревце сосенку, заговорил академик. – Это солянка. Соленая, горькая и жесткая, как проволока. Дрянь. А эта – сизенькая, полынок – великолепная пища коз, овец. Запах-то какой! А это вот житняк, равен люцерне. А здесь вот, – показывая на падину, говорил он, – можно развести чудесный сад. – Он ходил от ковра к ковра, поясняя, что растет и что можно здесь вырастить. Затем ковырнул носком ботинка землю, взял пригоршню, показал Мореву: – В этой земле много питательных веществ. Но... нужна вода... Вода, Аким Петрович. Лежит вот тут, в глуши, до десяти миллионов гектаров такой земли... Здесь десять да за Волгой столько же пустыющей земли. Милый мой, до двадцати миллионов гектаров земли, к которой надо приложить человеческие руки. И они будут приложены. Скоро сюда хлынут воды Цимлянского моря и Волги. А придет вода – придет и человек. Он принесет науку.

– Что же из науки принесет он? – уже зная, что академик порою в своей фантазии заходит очень далеко, насмешливо спросил Аким Морев.

– Бактерию, например, – ответил Иван Евдокимович.

– Какую? Тифозную, что ли? – вмешался Федор Иванович.

– Разные существуют бактерии: есть вредные, но есть и весьма полезные. Наши бактериологи нашли, вернее захватили такую, например, бактерию, которая при любых обстоятельствах повышает урожай зерновых на пятнадцать – двадцать процентов. Подобную бактерию уже размножают и в бутылках рассылают по колхозам.

– Да неужели? – уже серьезно спросил шофер.

– Точно. Придет сюда вода – придет человек, вооруженный наукой, организует здесь круглогодовые великолепные пастбища... и тогда мы, милый мой Аким Петрович, превратимся в мировую державу шерсти, мяса, масла.

– Едемте! – запротестовал Федор Иванович. – А то опоздаем на Сарпинское: дичь полетела уже.

– Успеем, – успокоил академик. – Там стой и весь день стреляй. Но согласен, поехали.

И машина снова понеслась по ровной, гудящей под колесами дороге, временами ныряя в огромные песчаные котлованы, выдутые ветрами. Обычно на дне таких котлованов виднелись колодцы, около которых стояли деревянные колоды для водопоя.

– Ружьишки приготовьте, – предложил шофер, – да и винтовочку. На всякий пожарный случай. – И вдруг таинственно, весь сжавшись, прошептал: – Они. Верно говорю – они.

– Кто? – также шепотом одновременно спросили Аким Морев и академик.

– Сайгаки.

– Где?

– Да вон – устались на нас. Ох, мотанулись.

В эту секунду в стороне, с километр от машины, замелькали какие-то ярко-желтоватые вспышки, затем поднялась дымка. Аким Морев и Иван Евдокимович увидели, как небольшое стадо диких коз – сайгаков – понеслось параллельно машине, мелькая светло-желтыми задками. Впереди идет вожак – козел. Он сгорбился, словно мордой пашет землю, и, однако, так стремительно несется вдаль, что кажется, не касается земли.

Шофер, сдерживая возбуждение охотника, крикнул:

– Винтовочку приготовьте. Вообще приготовиться, – и опустил переднее стекло на капот...

Со степей ударило удушливым запахом полынка, трав. Ветер сорвал шляпу с академика. Он схватил ее обеими руками, напялил на голову и, глянув на спидометр – там стрелка дрожала на цифре 70, – затем на удаляющихся сайгаков, задорно воскликнул:

– Вот это отмеряют!

– Что ж, стрелять? – спросил Аким Морев, направив ствол винтовки через переднее окно на стадо.

– Нет. Откроете огонь по моей команде, – резко ответил Федор Иванович, не спуская глаз с сайгаков, поясняя: – Он, этот степной король, свой нрав имеет. Как увидит машину – и давай улепетывать и других поднимать. Вот через несколько минут увидите, сколько их тут – великие тысячи.

– Ну уж! – усмехнулся было Аким Морев.

Но первая партия сайгаков подняла вторую, затем третью, четвертую, пятую... десятую... и вот их уже больше тысячи, больше двух, трех. Все они, поблескивая светло-желтыми задками, несутся параллельно машине, клубя пылью, увлекая за собой все новые и новые стада, или, как тут говорят, «шайки».

– У них нрав свой, – уверяет шофер. – Километров через десять обязательно захотят пересечь путь машине. Дескать, обгоним эту штуkenцию – страшную, как огонь, и убежим на другую сторону, а там нас не укусишь.

Впереди небольшая возвышенность, будто стертый курган. Федор Иванович придержал машину, затем дал газ, и когда перескочили возвышенность, то Аким Морев и академик увидели, как головная часть лавины сайгаков пересекла дорогу и неудержимо понеслась, поднимая копытами пыль степей.

Федор Иванович еще прибавил газу, и машина врезалась в сайгачий поток. Натолкнувшись на препятствие, сайгаки сделали скачок вперед, затем, пересекая дорогу, круто свернули, образуя дугу, и метнулись по следу своих вожаков.

– Огонь! – закричал Федор Иванович. – Бейте козла! Вон! Здоровый! Рогаль!

Аким Морев приложился... и отвел винтовку: до чего красиво несется эта лавина; видны всякие – крупные, как годовалые телята, самцы, поджарые, тонконогие самки, молодняк. Все они, низко опустив головы, сторбившись, мелькают копытцами, уносясь следом за своими собратьями. То тут, то там вожаки-козлы делают свечи: со всего стремительного бега прыгают вверх да так, на дыбках, какие-то секунды и красуются над несущимся стадом, затем снова устремляются вперед, уводя от опасности каждый свою шайку.

– Стреляйте же! – злобно выкрикнул Федор Иванович, приостанавливая машину.

Аким Морев выстрелил куда попало и, конечно, промазал, а сайгаки от выстрела, словно их кто подхлестнул, еще надали, и тогда густая туча пыли закрыла их.

– Эх!.. – шофер, дабы грубо не выругаться, фыркнул и, свернув влево, помчался следом за сайгаками.

Но пока он давал газ, пока разворачивался, те скрылись. Федор Иванович с минуту кружился, затем обрадованно воскликнул:

– Ух, батюшки – море!

Огромное, в несколько тысяч голов стадо сайгаков, уйдя километров на пять от дороги, спустившись в долину, мирно паслось. Но вот ближние, увидав машину, вскинули головы и зашевелились, будто горячая зола, затем метнулись, поднимая за собой всех остальных.

«Газик» уже шел со скоростью семьдесят пять километров, все настигая и настигая неисчислимое стадо сайгаков. И вдруг откуда-то из степей вырвалась новая огромнейшая шайка. Она стремительно неслась навстречу первой, и вот через какие-то секунды два стада, как две конницы, налетели друг на друга, и все смешалось, покрывшись пылью.

– Бейте же! Прямо в кучу. У-у-х, столкновение какое! – прокричал шофер.

Аким Морев, чтобы смыть позор, прицелился, но в момент спуска курка машина подпрыгнула, и пуля пошла вверх.

– Эх, балда. – И шофер, вырвав винтовку из рук Акима Морева, не останавливая машину, сам выстрелил.

Крупный козел, несколько раз перевернувшись через голову, рухнул на землю.

– Вот как стреляют добрые люди, – похвастался Федор Иванович и стремительно повел машину на упавшего козла, приговаривая: – А-а-а, голубчик, отскакался.

Козел лежал, уткнув морду в кочку, и вздрагивал всем телом. Федор Иванович, выйдя из машины, на ходу раскрывая огромный перочинный нож, шагнул к сайгаку.

– Вот и сдерем с тебя сейчас шкуру.

Сайгак неожиданно подскочил и стремительно ринулся в степь.

Видно было, что у него перебито бедро: окровавленное, оно пылало огненным пятном.

Шофер ахнул, выругался и, услышав слова Акима Морева: «Балду-то посылаю в ваш адрес», – кинулся к машине, дал газ, затем уверенно проговорил:

– Считайте, мы его уже зажарили: догоним. Ну, Стрелочка!

Козел шел во весь опор: на спидометре восемьдесят километров. Вот уже машина настигает его, но он почти перед радиатором делает крутой разворот и кидается в долину, всю усыпанную такими кочками, какие бывают на болоте. Между кочек высокая пожелтевшая трава, и козел скрывается в ней.

– Ах, сатана! – вскрикивает шофер, притормаживая. – Вишь, выбрал какое место боя – лиман: кочка на кочке, и нам, конечно, ходу нет. Ну, сделаем обкладную, – и, повернув машину вправо, развивая бег, помчался с обратной стороны к предполагаемому месту лежки козла.

Козла нигде не было.

Кругом стелились ровные степи, а перед машиной – кочкастый, лохматый, в желтеющих травах лиман. Вдали, едва видно, мирно пасется огромное стадо сайгаков.

– Сквозь землю, что ль, провалился? – чуть не плача, проговорил шофер и виновато посмотрел на своих пассажиров. – Что ж, айдате за теми, – и кивнул головой в сторону стада.

– Раненого зверя настоящий охотник не бросает, – упрекнул Аким Морев.

Еще раз растерянно посмотрев на кочкастый лиман, шофер поднялся на бугорок и про-
сиял:

– Те-те-те! Белеет. Ишь ты, зарылся! – И, прихватив винтовку, он кинулся, прыгая с кочки на кочку. Вот остановился, почему-то положил винтовку, шагнул, затем вскрикнул: – Амба! – нагнулся и за рога поволок к машине козла, по пути подбирая винтовку.

Иван Евдокимович и Аким Морев выбрались из машины, по всем охотничьим правилам прокричали шоферу ура, а тот, слегка приподняв сайгака, с фасоном бросил его к ногам своих попутчиков.

Козел действительно был крупен, из стариков. Голова у него огромная, как у коня, горбоносая, ноги тонкие, шерсть на спине окраской напоминала иглы ежа.

– Странно, – проговорил академик. – Когда он бежит, то опускает голову. Почти все животные во время бега задирают ее. Ах, вон в чем дело. – Иван Евдокимович растянул ноздри козла, они настолько расширились, хоть кулак туда вкладывай. – Смотрите, Аким Петрович, у него не ноздри, а целые мехи... Сколько такими ноздрями он хватает воздуха? Вот почему такая прыть.

– Это еще что! А вот задача с научной точки зрения, – проговорил возбужденно шофер, натачивая нож, готовясь освежевать козла. – Вот смотрите-ка, товарищ академик. – Он достал из машины тонкий железный прут, склонился над сайгаком, приподнял его переднюю ногу и там, где копытце раздваивается, запустил прут так, что тот на полметра ушел внутрь. – Видали? Этого ни у одного животного нет. К чему бы такое? Задача, кою может разрешить только Академия наук, – с важностью закончил Федор Иванович.

Иван Евдокимович поширкал прутком и тут же произнес:

– Куда же канал идет? Что-то мудреное. Однако у Брема об этом ни слова. Возьмем на исследование.

– С мясом? – испуганно спросил Федор Иванович.

Академик засмеялся.

– Мясо будем исследовать за столом.

Федор Иванович оживился:

– Академики – тоже народ сознательный: понимают, что мясо зря тратить не полагается. Но тут все стихли, повернулись в правую сторону: там шел смертельный бой.

По степи, кроясь в травах, неслась пламенеющая, как кровь, лиса, а над нею, расправя могучие крылья, парил степной орел. Он плыл очень низко – метров на пятнадцать – двадцать, делал круги, как бы намереваясь приостановить бег зверя, затем, сжавшись, выпустив когти, падал. Лиса в этот миг резко переворачивалась через голову, оскалив зубы, бросалась на орла, – тот взвизгивал, и снова начиналась та же самая гонка. В этом бою они, очевидно, не видели другой грозящей им опасности, и оба приближались к машине.

Аким Морев выхватил из кузова ружье, прицелился. Раздались раз за разом два выстрела: лиса сунулась мордой в траву, будто подкошенная, орел перевернулся в воздухе и стукнулся о землю, словно мешок с песком.

– Ловко! – воскликнул Федор Иванович.

– Вот так-то, по-нашему, быют, – не без гордости ответил Аким Морев.

– А вы, оказывается, чудесный стрелок, – со скрытой завистью произнес Иван Евдокимович. – Эдак вы меня на Сарпинском вмиг обставите. Куда там: лиса на бегу, орел в полете, а вы раз-раз – и оба валятся.

Лиса была сражена насмерть. Орел лежал, раскинув крылья, припав грудью к травам. Он, тяжело дыша, то приподнимал, то опускал гордую голову с белыми наглазниками и с такой ненавистью смотрел на подошедших, что даже шоферу стало страшновато.

– Разорвал бы нас на клочки, волю дай, – проговорил он.

– Да. Сила в нем могутная, – согласился Иван Евдокимович и шагнул было к орлу, чтобы лучше рассмотреть его, но Аким Морев преградил дорогу:

– Хотите, чтобы он когти в вас всадил?

3

Солнце взошло и палило так, что в машине пришлось открыть дверки, и все равно было душно и угарно от запаха трав, которые, казалось, поджаривались на гигантских сковородках.

Впереди уже лежали Сарпинские степи, ровные, как море в тишь, только временами попадались пригорки и выдутые ветрами огромные песчаные котлованы, заросшие травой-колючкой – лакомой пищей верблюда. Здесь вид степей был уже иной, чем на Черных землях. Там все покрыто разноцветными коврами, здесь почти всюду житняк и седой ковыль. Но все такое же безлюдье – ни человека, ни подводы, ни встречной машины... Только степи, седой ковыль, пожелтевшие травы в низинах, жаркое солнце, удушливый запах полынка и миллиарды бугорков-могильников, созданных сусликами.

– Отметьте в своей памяти, Аким Петрович, – проговорил Иван Евдокимович, опять став собранным и сосредоточенным, – там, где ковыль, обычно целина и земля хорошая. В этих степях, понимаете ли, пасти бы неисчислимые гурты овец, стада коров, табуны коней, разводить бы хлопок, выращивать бы чудесный рис: солнца-то сколько, охапками хватай. Воды, водички бы сюда. Заметьте еще, мы с вами едем по левую сторону бывшего русла Волги – будущего канала Волга – Черные земли. Представьте себе, что будет через пять или десять лет. Водой – жизнью степей – заполнятся все озера, котлованы, вода хлынет по оросительной системе на поля, разработанные электротрактором. Все оживет от прикосновения человеческой руки.

– Возвышенно говорите! – досадуя на то, что так много зря пропадает здесь земли, воскликнул Аким Морев.

– И уверенно, – подтвердил академик.

Часа через два, когда спидометр показал, что от Астрахани отмерено двести семьдесят километров, на пути снова попался огромный песчаный котлован.

– Кстати, попьем, а то на озере вода неважнецкая, – посоветовал Иван Евдокимович. – Да и с собой бы захватить. У вас есть посуда? – спросил он у шофера.

– Имеется, – с живостью и хитрецей ответил Федор Иванович. – И для воды и для особой влаги.

– Особой-то влаги пока трудно достать. Подождите лет десяток: тут рестораны на пути вырастут.

– Нам так долго ждать нельзя: сайгак протухнет, – отшутился и шофер.

Машина перевалила через песчаную кромку и остановилась.

Весь огромный, пылающий жаром, как раскаленная плита, котлован был забит сизолиловатыми, тонкорунной породы овцами. Они даже не блеяли, а, уткнув в землю морды, слившись в единый поток, всей массой в две-три тысячи голов напирали на небольшую колоду у одинокого журавля-колодца.

Старший чабан Егор Пряхин – человек несокрушимой силы: мускулы на его обнаженных плечах так и перекатывались, – вместе со своим молодым помощником качал воду и лил ее в колоду, а другие два, тоже бронзовые от загара, палками отталкивали овец, которые, казалось им, уже напились. Но те заходили в тыл отаре и вместе со всеми продолжали напирать на одинокую колоду.

Дальше, за отарой, на желтом бугре, виднелись кибитки, запряженные красными волами. Около них стояли понурые верховые кони, лежали, свернувшись клубочками, широколобые собаки-волкодавы и седоватый козел. Этот при появлении машины вскочил, поднялся на

дыбки и начал что-то быстро-быстро пережевывать, делая паузы, словно произносил с запинками речь.

– Да что это за издевательство над животными? – проворчал академик, выбираясь из машины, и, подойдя к чабанам, сурово заговорил: – При уме ли? Столько овец в такую жару из одной колоды решили напоить?

Егор Пряхин зло покосился на него.

– С неба свалился? Ай не знаешь, воды кругом даже глаза помочить и то нет. Все озера как моя ладонь. – Он протянул огромную руку, показывая загрубевшую широкую ладонь.

– Гнали бы на Сарпинское.

– И в Сарпинском, говорят, пусто.

– Ну уж... пусто. Озеро в тридцать километров длины – и пусто. Чепуху мелете.

– Мы чепуху, а ты муку мелешь. Вон гляди, – показывая на пустующие землянки в стенках котлована, проговорил Егор Пряхин. – Видишь: вода ушла, и люди ушли. Давай! Давай, ребята! А то перемрут овцы-то! – прокричал он и смолк, уже не отвечая на вопросы академика.

– Обида, брат, – плохой помощник в труде, – под конец заметил Иван Евдокимович, желая этим вызвать на разговор чабана, но тот качал воду, отворачивался, затем прорвался:

– Уйди-ка! Я вот одного слушал такого на курсах, он и то и се, в небеса взвывается, аж пятки сверкают. А тут – на грешной-то земле – вон чего. Давай! Давай, ребята, а то помрут овцы-то! – снова прокричал Егор Пряхин, отвернувшись от академика.

Но Иван Евдокимович не отставал, и Аким Морев, понимая, что дело может закончиться шумной руганью, стыдясь за грубость чабана, вышел из машины и спросил:

– Да вы из какого колхоза, товарищ?

– Я-то? – сразу присмирив, проговорил Егор Пряхин. – Из «Гиганта»... Разломовского района мы.

– Да ну! – обрадованно воскликнул академик. – А я у вас там бывал... в Разломе, – невольно приврал он, желая скрыть то, что обрадовало его: в Разломе живет Анна Арбузина.

– А вы кто, между прочим? – произнес Егор Пряхин, у которого неприязнь уже прошла, но он еще упорствовал, грубовато спрашивая: – Кто вы, между прочим?

– Академик Бахарев, Иван Евдокимович, – вместо академика ответил Аким Морев.

– Ну-у! Ой! Стеганул было я вас, товарищ академик, Иван Евдокимович. А я вас знаю. Ну, пшеницу-чудо вывели вы. Как не знать?

– Я-то, может, и чудо вывел, а вы-то вот что выводите? – продолжал так же сурово академик.

Но Егор Пряхин, не обращая внимания на тон его голоса, обрадованно говорил:

– Вот расскажу своим. Впрочем, весной уж: гоним овечек на Черные земли... Утта и Халхутта, а между ними наша база. Вот расскажу. Не сердчайте за овечек, товарищ академик: на нашей точке вода есть. А тут что ж? Туда сунулись – пусто, сюда сунулись – пусто. Пересохли озера. Вы вот что, товарищи, помогите-ка нам. Давайте качайте воду, а мы тех, кои хоть малость водицы хлебнули, из котлована выгонять будем, – и, не дожидаясь согласия, закричал: – Митрич! Иди-ка сюда! Махорки хочешь? Митрич! – А когда к нему подскочил козел и, потряхивая бородкой, заглянул ему в глаза, Егор Пряхин добавил: – Давай работать, Митрич. Нечего дурака-то валять. Веди овечек. Ну-ка, – и отбив две-три сотни овец от отары, он повел козла из котлована, а за козлом тронулись и овцы.

Так, проредив отару, вместе с чабанами напоив половину овец, академик, Аким Морев и шофер, набрав в бак воды, сели в машину и помчались дальше – на Сарпинское озеро.

– Не верю, – садясь в машину и помогая шоферу установить бачок со свежей водой, проворчал академик. – Леня погнать на Сарпинское, вот и болтают – пересохло. Аким Петрович, соберите-ка и второе ружье, да и патронов надо приготовить. Скоро Сарпинское. Постреляем,

да и в Разлом, посмотрим, что колхозники делают, а оттуда в город. Вы поди-ка соскучились? Я – нет. Так и жил бы в степи.

– Чай, не один – в степи-то? – усмехаясь и намеренно произнося волжское слово «чай», спросил Аким Морев.

– Один? Как одному? С чабанами бы связался.

– С чабанихами... и то лучше. Аннушка, она что – не только садовод, но и чабаниха?

– Эх, правда... Дичи набьем – и к ней. Представляете, Аким Петрович, входим, увешанные дичью – казарой, материком, чирками. Нет, чирков брать не будем... А вот если бы удалось гуся, а то и парочку. Ловко бы. Или лебедя. Что? На Сарпинском и лебеди водятся. Представляете, пару лебедей вносим в дом.

– Вот так жених, – подшутил Аким Морев, но тут же поправился: – Не я говорю. Что вы! Из хаты родственники кричат: «Вот так жених, Аннушка».

– Хорошо бы, конечно, если бы так встретили. Да уж где нам, – вдруг впервые откровенно произнес Иван Евдокимович.

– Где? А там – у Аннушки.

Академик долго и внимательно смотрел ему в лицо, не понимая, шутит он или говорит серьезно.

– Что так смотрите? Хорошо, если сердце зовет... Вон как за несколько дней посвежел. Лет этак на десяток моложе стал, – заканчивая приготовления второго ружья, вымолвил Аким Морев.

– Вы правы, – глубоко передохнув, чуть погодя произнес Иван Евдокимович. – Не знаю, как внешне, но душа омолодилась.

Федор Иванович знал, что в такие разговоры ему «встревать» нельзя, поэтому гнал Стрелу и сам даже подпрыгивал на сиденье, как бы весь летя вместе с машиной вперед, выкрикивал:

– Стрелушка, дуй до гремящего боя. Такой огонь откроем – ахнешь.

– Да-а. Только как дичь будем доставать? Озеро хотя и неглубокое, но ведь я в ботинках, Аким Петрович, в ботинках. Стало быть, следует дичь бить так, чтобы она попадала на берег.

– А я для чего? – возопил Федор Иванович. – Разденусь, вроде дикаря, следить буду. Бей – достану.

– Там камыш три метра вышины.

– Достану, достану! – с обидой возразил шофер.

– Прошу извинения, – сказал академик. – Если вы уж такой заядлый охотник, вам, конечно, без дела на берегу не сидеть.

Вдали показалось Сарпинское озеро. Оно туманилось, словно было залито парным молоком. По берегам же чернели стены камышей.

– Видите? Вода! – воскликнул академик, подтверждая свою правоту в разговоре с пастухом. – А они – пусто. Лень пригнать сюда овец – вот и пусто, – и он, взяв ружье, осмотрел его. – Хорошие ружья стали выпускать ижевцы. Да, ну что ж, попалим. Давно я не стрелял. Как, Аким Петрович, зуд-то охотничий? Зашевелился червячок?

– Не червячок, а удав. Давайте-ка проверим патроны, – посоветовал Аким Морев и, беря патроны, стал поодиночке трясти их около уха. – Ничего. Дробь плотно лежит...

Пока они проверяли патроны, шофер дал такой газ, что Стрела рванулась вперед с головокружительной быстротой, и вот она уже круто застопорила, остановилась на боковине озера, вздрагивая от перебоев мотора, а Федор Иванович шепотом, со страхом, будто перед ним неожиданно появился тигр, произнес:

– Товарищи! Водички кот наплакал.

– Ну, это, вероятно, только тут – в начале озера. Пошел вперед, – дрогнувшим голосом проговорил академик, неотрывно глядя на сухое, будто утрамбованное серое дно.

Машина сорвалась с места.

Но и дальше было то же самое, – сизое, сухое дно, напоминавшее собою прибитую дождями золу, а по бокам высокий пересушенный камыш. Снизу еще тянутся зеленые побеги, а выше – все посерело, заиндевело, будто в трескучие морозы... и ни единой птицы... Даже воробы и те куда-то скрылись. Виднелись только следы лис и крупные отпечатки лап волка.

– Страшно, – промолвил академик, когда машина промчалась вдоль берега километров двадцать.

– Пустыня, – горестно подтвердил Аким Морев.

– Да. Вот как язык-то пустыни наступает на Поволжье. Мы там, в Москве, спорим, про-рабатываем, планируем, а тут? Ну что ж – бери левее, Федор Иванович... В Разлом. Валяй прямо степью. Дорога скоро попадетсЯ, – приказал Иван Евдокимович и чуть погода добавил: – Что ж, сайгака привезем... Тоже не шутка. А? Аким Петрович!

– Шутка ли – целого козла на стол!

4

– Я знаю, Иван Евдокимович, не беспокойтесь. На Разлом? Домчимся: мигнуть не успеете – там будем... Прямо и прямо, – так уверенно говорил вначале шофер, особенно подчеркивая свое «не беспокойтесь». Так говорил он и час спустя, но уже менее уверенно произнося «не беспокойтесь», так утверждал и сейчас, но слова «не беспокойтесь» произносит уже с дрожью в голосе, добавляя: – Разлом? Ге! Да я там был. Ге! Куропаточек кушал. Ге! Удивительно, в степи, в жару, аду кремешном, я бы сказал, а куропаточек тьма-тьмушая, особо на Докукинской балке.

– На чьей? Докукинской? – спросил Иван Евдокимович и потому не уловил тревоги в голосе шофера. – Что за балка?

– Докукинская? Это, слышь, какой-то чародей жил: нигде ни кустика, а он в балке дубы вырастил. И теперь – лес шумит, деревья гнутся, а ночка темная была, – неожиданно запел шофер.

Иван Евдокимович, подмигнув Акиму Мореву, проговорил:

– Веселый парень Федор Иванович. С ним, вижу, не пропадешь.

– Со мной? Ни в жисть.

А кругом стелились степи – золотисто-рыжие, местами укрытые серебристым отцветшим ковылем. Он, словно приветствуя путников, махал миллиардами седых кудерек.

– Шо за черт, – вдруг вырвалось у шофера. – Два часа едем, километров сто оторвали... а в конце-то концов... Может, Разлом перенесли на другое место... или ту же Анату?

Только тут впервые Иван Евдокимович тревожно посмотрел на степь и проговорил:

– Вы, голубчик, опять на Черные земли подались.

– Это отчего? – возразил шофер. – Я-то уж знаю да перезнаю Черные земли.

– А вот и не знаете: облик Сарпинских степей один, как, например, ваш, облик Черных земель другой, как, например, мой. Не перепутаешь же нас с вами, если знаешь. Постой-ка. – Академик выбрался из машины, посмотрел во все стороны и с досадой произнес: – Вы несетесь на Астрахань. Я вам сказал: «Бери левее», – то есть на северо-запад... На закат солнца. А вас потащило на юг.

– На ветер, Иван Евдокимович, – виновато запротестовал шофер. – Вы сказали левее, а ветер дул оттуда, и я поехал на него. Ковыль кланяется мне – ну, я на его поклоны...

– На ветер? Надо же придумать. Да он тут в эту пору то и дело меняет направление. Разворачивайтесь и давайте резко на север. Кстати... вовсе, конечно, не кстати... солнышко закатывается. Держите на него... Попадем на Анату, а оттуда свернем влево – на Разлом.

– Есть на солнышко, попадем на Анату, а потом влево, на Разлом! – делая вид, что он вовсе не унывает, прокричал, разворачивая машину, Федор Иванович, а Иван Евдокимович раздраженно пробубнил:

– Кстати... некстати. Ночь застанет, и будем сидеть, как суслики у норы!

Аким Морев молчал: в данном случае он ничего путного посоветовать не мог, ему все время казалось, что едут правильно, а земли вокруг так много, что, вероятно, ее до сих пор никто не измерил.

«И, наверное, много ее ничейной. Лежит матушка-земля и лежит. Растут на ней травы, ну и пусть растут. Да, здесь будет край изобилия... если... если дать воду» – так, думая о своем, он меньше всего обращал внимание на то, куда едут, как едут. Одно беспокоило его: они со времени выезда из Москвы путешествуют уже десятый день. Пора бы и в Приволжск. Ведь там известно, что академик и Аким Морев давным-давно покинули Москву. Вероятно, ждут и, пожалуй, тревожатся. Хотя что ж, Аким Морев перед выездом попросил у Муратова разрешение на такую поездку.

– Не только одобряю, но и завидую, – ответил тот.

И Аким Морев ко всему присматривается, а несколько часов тому назад, когда они пересекли пересохшее Сарпинское озеро и академик сказал: «Ваша область начинается», – Аким Морев этому обрадовался так же, как радуется человек, преодолевший тяжелый путь и наконец-то очутившийся в родных местах. Он здесь не просто смотрел, наблюдал. Нет. Ему порою хотелось выбраться из машины, ковырнуть землю и попробовать определить ее пригодность, собрать в пучки сорта трав.

– Подожди, – говорил он сам себе. – Тебя еще не выбрали. Ведь могут заголосовать. – Вот это и удерживало, а так – он на все посматривал уже хозяйским глазом, даже в уме планировал, какие совхозы можно было бы здесь развернуть, на этих вот рыжих, выжженных каленым солнцем степях. – Спасибо Ивану Евдокимовичу... Теперь хотя и кое-какое, но имею представление о Волге, о Черных землях, о степях. Хорошо. – И тут же услышал голос шофера:

– Стоп. Закупорка.

Машина фыркнула и замерла.

– Что за закупорка? Ни к чему сейчас закупорка, – и академик одновременно с шофером выбрался из машины.

– Закупорка какая-то, товарищ академик, – виновато вымолвил Федор Иванович, затем, подняв капот, начал ковыряться в моторе, говоря: – Ах, беда! Клемма отвалилась.

– Ну-ка! Ну-ка! Где? – Академик заглянул под капот. – Вы очки-то нам не втирайте. Клемма! Она на месте. Вы уж лучше прямо говорите, что стряслось?

– Бензинчик выкапал. Бензинчик, – произнес шофер так, словно сказал: «Праздничек завтра». – Не зря мой дед абсолютно утверждает, что волю куда лучше: «Поесть захотели, пустил их на травку, отдохнули, покушали и пошел дальше». С чем я, конечно, товарищ академик, абсолютно не согласен. Потому что это, скажу вам, у деда абсолютный консерватизм, то есть даже царизм. Абсолютно.

Аким Морев тоже выбрался из машины и, услышав последние слова Федора Ивановича, рассмеялся:

– Вот так царизм! Значит, загораем? Что ж будем делать?

– Да ну-у, – протянул шофер. – Чего делать? Найдем, что делать!

– Ведь мы стоим где-то в стороне от тракта, – перебил Аким Морев.

– А вон. – Шофер ткнул рукой по направлению к заросшей травами колее.

– Здесь по главному тракту и то в кои-то веки проходит машина, а по этой дороге только наши прадеды ездили, и то на волах, – пояснил академик.

– В кой век, да ведь бывает? Нельзя терять надежды. А вон котлован, там должен быть колодец. Сбегаю. – Федор Иванович, чтобы скрыться от стыда, со всех ног кинулся к котловану

и вскоре вышел оттуда с такими сияющими глазами, точно откопал там бочку с бензином. Он нес охапку травы-колючки и кричал: – Есть! Есть! Верно. Что верно, то абсолютно правильно. Заброшенный колодец, но на дне вода: булькнуло, когда туда комочек земли кинул. Ну а раз вода есть – жить можно. Я однажды три дня сидел в степи – мотор у меня забарахлил, – так сидел без воды. То – маета. А теперь что ж – вода рядом.

– Вы зачем пищу верблюдов тащите? Нас кормить, что ль, собираетесь? – горестно шутя, спросил академик.

– Костер. Знаете, как она пылает, вроде пороха.

– Все утешение.

– Айда все. Все за травой. Ночь-то длинна, – посоветовал Федор Иванович. – Ничего. Сейчас костер разведем... сайгака поджарим. Я вам такой шашлык устрою – век не едали. А чтобы остальное мясо не пропало, я его в колодец спущу: там холодно, – и, быстро достав шнур, мешок с мясом, отвалив от козла полбока, он побежал к колодцу и снова вернулся, уже неся в ведерке воду. – Давайте! Травы больше давайте, чтобы ночью не таскаться за ней...

За несколько минут перед этим еще играли, переливаясь, краски в степи: мешались красные с голубыми, с белыми, янтарно-светлыми, а на ободках облаков горели отблески лучей, и казалось, там пылает расплавленная сталь: она колыхнется и будто бы отдает горячими парами. И вдруг все окуталось тьмой, а на низком сине-голубом небе мерцали крупные и яркие звезды.

Федор Иванович развел костер и принялся готовить мясо на шашлык, одновременно подкладывая в огонь траву. Подкладывал он экономно – по одному пучку, но тот вспыхивал молниеносно и какие-то секунды горел с треском, освещая вокруг степь, затем снова наступал полумрак, и опять от вспышки все освещалось красно-красным заревом.

– Что вы так скупы... с травой-то? Мало ли ее в котловане? – ворчал академик, сам принимаясь разрезать мясо сайгака.

– Зачем попусту палить? Кроме того, спалим, а потом, может, и котлован не найдем: тьма кромешная, абсолютно!

– Я найду. Я не как некоторые шоферы. Эх, «абсолютно»! – с упреком подчеркнул Иван Евдокимович последнее слово, кстати и некстати употребляемое Федором Ивановичем.

Но тот как будто и не слышал этого упрека. Он из-под кучи травы-колючки извлек несколько просмоленных корней, найденных им где-то. Возможно, что это корни когда-то росшего дуба или вяза. Во всяком случае, они весьма древние: почернели, покрылись той рябью, какая бывает на проржавленном железе. Предприимчивый мужик, ничего не скажешь.

В другое время Иван Евдокимович непременно занялся бы исследованием корней, а в данную минуту, глянув, как они вспыхнули, он был охвачен тем непонятным еще чувством, какое охватывает любого человека, смотрящего на пылающий костер. Академик считал, что эта непоборимая тяга к огню передана из поколения в поколение от наших предков, живших в пещерах: они достали огонь, внесли его в пещеры, и огонь стал служить им и как защита от зверя, и как тепло.

Возможно, что эта непоборимая тяга всегда и приковывала Ивана Евдокимовича к костру: он мог целыми ночами сидеть и смотреть, как огонь пожирает дрова, превращая тлеющие угли в причудливые сооружения.

И сейчас он смотрит, как вспыхнули корни, как они стали изгибаться, как накаляются, краснеют и вот уже развалились на кругляши, квадратики, вот уже образовалось какое-то причудливое сооружение в виде маленького городка. Городок рухнул... и опять возникло что-то причудливое, пламенеющее, каждую секунду меняющееся.

Академик смотрит на костер, и перед ним проносится история человека. Она проносится перед ним совсем иначе, чем, например, перед инженером или геологом. Иван Евдокимович знает, что современной мотыге насчитывается тысяч пятьдесят лет, но ведь двести – триста

тысяч лет тому назад люди в качестве мотыги употребляли камень; что ныне в Тибете в диком состоянии растет пшеница, но ведь она такой росла и миллионы лет тому назад, когда человек впервые познал ее зерно, но не мог еще прорастивать его; что в современной Абхазии находят деревья груши, которым насчитывается не меньше тысячи лет, и явно видно: эти деревья когда-то были посажены человеком. Да. Да. Человек урывал от природы кусочки, порою даже чуточку овладевал ею, но она всегда господствовала над ним: обрушивалась на него свирепым гневом или неожиданно одаряла изобилием, что бывало редко.

Мысль овладеть силами природы жила в людях извечно. И они до какой-то степени сумели овладеть ими: «взнуздали» огонь, он дал пар, пар создал машину, бывшую мотыгу люди превратили в трактор, дикорастущую пшеницу – в культурные сорта. Но как медленно, как медленно люди продвигаются вперед: до сих пор в ряде стран, чтобы не умереть с голоду, они, засучив штаны, идут на клочок земли и поливают ее так же, как давным-давно поливали ее древние предки...

И снова Иваном Евдокимовичем овладели те же мысли, которые не дали ему возможности заснуть в астраханской гостинице.

«Деревянные кинжалчики. Замахиваемся ими на злые силы природы, будто на Эльбрус. А Эльбрус стоит себе и стоит: все озера пересохли. Шутка – озеро длиною в тридцать километров, а на нем хоть в футбол играй: ни капли воды. Бессильны. До чего мы бессильны, – с тоскою думал он. – Так к чему же все наши трудишки? Мой дед Вениамин Павлович потратил всю свою жизнь на борьбу с засухой. Мой отец на то же потратил жизнь. Трачу я, мое поколение агрономов. К чему все это? Зачем?» – И неожиданно что-то радостное забилося в его груди. Сначала ему даже непонятно было, откуда оно, почему, отчего? Но вот послышался голос, густой, наполненный ласковым смехом... и слова: «Теперь-то... все одно ко мне не миновать». Затем появились глаза: они как будто знают все, что творится на земле, даже то, что свершилось с академиком на теплоходе. А этот цветастый сарафан! Да что такое? Разве Иван Евдокимович впервые видит сарафан? Такие видел, что ахнешь. А этот – скромный, легкий, с наплечьями. Оголены только руки. Они сильные, в крепком загаре, а кисти маленькие, с загрубевшими пальцами. Она все время прячет их... и зря: академику как раз и нравятся такие пальцы, прикасавшиеся к земле. Уверяет, что вырастила сад на площадке в десять гектаров. Не в Курской или Воронежской области, а вот здесь-то, в полупустыне, при всеспяляющем зное, где днем невозможно босому ступить на землю: она накаляется до семидесяти градусов. В своей статье, недавно опубликованной в центральной газете, Иван Евдокимович утверждал, что для овладения полупустыней юго-востока (стало быть, в первую очередь Черных земель) нужно провести комплекс мероприятий: лесопосадки, которые будут барьером для морских ветров среднеазиатской пустыни; заполнение водою Волги, Дона, озер, лиманов, что вместе с искусственными морями будет увлажнять злое дыхание пустыни. Вот как – леса и вода. А тут Анна, простая колхозница, вместе со своими подругами вырастила сад. Может быть? Да нет, она не такая, чтобы хвастать, тем более лгать.

«К черту и сарафан пошлю! – мысленно воскликнул он. – Сад? Наверное, чепуха какая-нибудь. Наверное. Вдовушка. А тут я подвернулся. Ну, еще бы! Выскочить за дуралея-академика! Видела меня на теплоходе и поняла – не из тех я... вертопрахов. Я ведь даже не прикоснулся к ней. Только там, на берегу, куда репу-то я ей донес. Сердце как колотилось! А донес. Она поцеловала меня. Но ведь это она, а не я. И надо подальше... подальше от соблазна. Мимо Разлома и на Приволжск. Времени и без этого много потрачено. Да. Да. Достаточно. Сарафан. Сарафан. К шутам сарафан!»

Но как в уме ни бранился академик, как ни журил себя, как ни стыдил, все равно видел перед собой Анну Арбузину, и напоминала она ему яблоню в цвету, вот почему он даже прошептал:

– Нет. Заедем. Обязательно. Не могу не заехать.

Шепота его никто не услышал: Федор Иванович задремал, а Аким Морев скрылся за машиной и, облокотившись на капот, смотрел во тьму степей.

Степи уже жили своей ночной жизнью: звуки стали более четкими и гулкими, ветерок переполнился запахом трав, особенно полынка. Временами казалось, земля покрякивает от наступившей прохлады: что-то трещит, что-то звенит, что-то лопается. Откуда-то донесся крик зайца, – значит, заяц попал в беду. В травах переговариваются куропатки. Протяжно и надрывно завыл волк. Резко оборвал, словно кто неожиданно сдавил ему глотку...

Звенит степь.

И Аким Морев затосковал.

5

Отец Акима Морева, Петр Сластенов, плотник по профессии, был один из тех, кого нужда кидала во все концы страны. Сродники его – куст Сластеновых – когда-то жили на глухом побережье Каспия, занимались рыбным промыслом, охотой. Это были люди удалые, предприимчивые, дерзновенные, воспитанные суровым морем: они любили его, преклонялись перед ним, словно язычники перед истуканом, и боялись его, точно самого лютого зверя. Всякий раз, как только мужская часть поселка отплывала на промыслы, все остальные высыпали на берег и прощались с отъезжающими, будто те отправлялись на смертельный бой.

Держались Сластеновы замкнуто, своим кругом: грамоты не знали, да и знать не хотели, на учете в полиции не числились, событиями в государстве не интересовались, дочерей выдавали за рыбаков, сыновей женили на рыбацках только своего круга и крепко защищали старую веру.

Петр Сластенов первый нарушил обычай: женился на Глаше, девушке из деревни Яблоновки, расположенной на крутом берегу Волги, выше Саратова... и за это вместе с молодой женой был отселен на пустынный остров Гнилец.

– Живи, как пес, раз черту переступил, – сказал ему вожак круга старик Маркел Сластенов. – На том свете встретимся, знать тебя все одно не будем. Вон тебе шалаш, сети, топор, лодка, дерюга: мы не драконы какие.

Не только братья, родственники, но и отец отказался от Петра, заявив:

– Был у меня сын, да позорно свихнулся.

Но мать – уже старушка – в темные ночи украдкой на челне пробиралась на остров и здесь, обливаясь слезами, уверяла:

– Ничего, Петенька, и ты, моя красавица, Глашенька, – парочка вы моя, соловей да соловушка. Любить надо друг друга, и все обойдется. Те ведь зачерствели в море: одно на уме – деньги да богатство, а то, что парень к девке льнет ай девка к парню, – не чувят... и сами с бабами стали как звери: сделал свое дело и отвернулся. А у вас свое богатство великое – любовь. И любите. Остальное обойдется. Вон море какое буйное бывает: корабли топит, а выглянет солнышко – и расцветет. Наступит час, и отец улыбнется.

Время шло, море то буйствовало, то светилося на солнце, но Аким Сластенов, отец Петра, оставался непреклонным... И жил Петр со своей молодой, красивой женой на пустынном острове, ловил рыбу, отправлял ее в Астрахань, построил избушку, боясь и шагу шагнуть к поселку Сластеновых: убьют.

Здесь, на острове, и появился на свет Аким Морев.

Петр обрадовался рождению сына, назвал его в честь отца Акимом, думая, что это всколыхнет сердце Акима Сластенова... и тогда... тогда, может, простит его, Петра. Да и наверное простит: ведь он никуда не убежал, старой веры придерживается крепко, и сын у него родился... Но как раз в это время и случилось самое страшное.

Как и каждый год, в эту зиму рыбаки побережья, живущие так же замкнуто, как и круг Сластеновых, усиленно готовились на воровской убой тюленя: чтобы бить тюленя открыто, следовало в казну внести определенную сумму денег, но ведь убой-то может быть удачным, а может быть и неудачным: с пустыми руками вернешься, а деньги уже внес. Поэтому все били тюленя воровским способом. Перед отправкой в море поселок избирал старшину на время охоты. Старшине в море все беспрекословно подчинялись, но если он там вел себя плохо, то при высадке на берег его избивали до полусмерти. Так всюду были избраны старшины, приготовлены ружья, багры, и в одну условленную темную ночь из поселка на конях, запряженных в сани, вырвалось до двух тысяч рыбаков-охотников, в том числе и Сластеновы, оставив дома только женщин, стариков и ребятишек.

Петр Сластенов не раз бывал в таком азартном бою, и ныне он вышел на мыс острова и с крутизны долго, тоскливо всматривался в белесую и молчаливую заснеженную равнину. Он знал, что лед сковал море километров на пятьдесят от берега, а там, за кромкой льда, гуляют синие воды Каспия, а перед кромкой во льду тысячи лунок, оттаянных дыханием зверя, рядом с лунками – на белых безмолвных покровах – неисчислимые стада тюленя. Надо подкараулить: зайти с кромки льда, из ружья уложить несколько тюленей у лунок, чтобы они своими телами закрыли ход в воду, и потом бить остальных баграми – направо и налево. Ах, какой азарт разгорается в душе каждого участника такого боя!

Ровно в двенадцать ночи, как будто кто-то дал сигнал, мимо острова Гнилец на взмысленных откормленных конях помчались охотники. Петр с высокого обрыва видел, как вспыхивал лед, изрубленный острыми шипами подков, как сани поднимали легкую белесую дымку, слышал ржание коней, говор людей... и рисовал в своем воображении предстоящий бой: белые поля, устланные черным зверем и разрисованные ярко горящими кровавыми пятнами.

Так Петр простоял часа два или три, уже коченея на морозе... И вдруг раздался такой гул, словно Каспий охнул от невыносимой боли...

В полдень те, кто спасся, сообщили: на заре разыгрался свирепый шторм, ветер оторвал гигантскую льдину и утащил ее в открытое море. Там льдина разломалась на мелкие части, и все, кто находился на ней, – человек до пятисот – вместе с конями, припасами погибли. В том числе погибли и Сластеновы.

После такого бедствия Петр намеревался было возглавить поселок Сластеновых, но Глаша утянула его в родную деревушку Яблоновку, расположенную на крутом берегу Волги, повыше Саратова. Здесь Петр начал обрабатывать землю, которая «больше пила из человека соков, нежели давала ему».

– Она, земля-то ваша, все одно что пиявка: кровь сосет, силы вытягивает, – так однажды, измученный изнурительной полевой работой, сказал односельчанам Петр.

– Да ведь пиявка – штука полезная: от болезней избавляет, – возразили ему.

– Это где посадить пиявку, – в свою очередь возразил Петр. – И в каком количестве. А вы тут все сплошь пиявками утыканы. Эх, на море бы! Там что? Закинул невод – удача: тысяча десять, а то и пятнадцать пудов рыбы зацепил. Это если по гривеннику за пуд продай, и то гора денег. А у вас? Ковыряй землю, милуй ее... А! Чтобы ей треснуть! А там, на море-то...

– Еще бы! Вон какая удача постигла твоих родных, – с насмешкой напоминали Петру о бедствии.

Петр некоторое время стоял в раздумье, скорбя о погибших, но тут же встряхивался и кидал злые слова:

– Уж лучше враз сунуться башкой в пропасть, нежели тебя век пиявки сосать будут. Уеду. На море уеду, ай за океан.

И о чем бы ни заговаривали соседи, Петр все равно возвращался к морю, потому и получил кличку: «Море». Его так и звали: «Эй, Море!», «Море, айда с нами!», «Море, куда пото-

пал?». Петру понравилась такая кличка, и потому он сам стал объявляться: «Петр Акимович Морев», – что перешло в паспорт, а потом и к Акиму Мореву.

Несмотря на свою непотухающую любовь к Глаше, Петр не мог навсегда осесть в деревне по многим причинам. Земли на его душу и на душу Акимки досталось всего чуть побольше десятины, и ту в трех полях порезали на узенькие ленточки-загоны, числом восемнадцать. Ради восемнадцати полосок так же бессмысленно было приобретать лошадь, телегу, сбрую, соху, как бессмысленно для одного человека варить котел щей. Единственным капиталом обладал Петр Морев – это мятежной душой, что получил в наследство от Сластеновых, да еще мастерством плотника, – все это вместе и кидало его в Астрахань, Баку, Ашхабад, Красноводск... Сначала он улета́л из деревни один, а потом стал прихватывать с собой Глашу и маленького Акимку. И всякий раз возвращался в Яблоновку с новым сундучком, на крышке которого красовались крупные буквы: «ПАМ». Иногда сундучок заполнялся одежкой, купленной на толкучке, а в кармане у Петра прятался четвертной билет, но чаще в сундучке хранились ржавые петли, дверные ручки, сточенные топоры, зато рассказов о виденном у Петра был непочатый мешок. Рассказывал Петр мастерски, и соседи слушали его целыми зимними вечерами, а уходя, насмеявшись и нагоревавшись, покачивали головами, произносили:

– Ну и шутолом!

– Артиз. Ему бы только в балаган.

– Муки и на заправку нет, а духу-то сколько в нем: поет тебе, как птица.

– Зато мир видит. А мы – тараканы в щели.

Петр жил, как актер на сцене: сыграл роль и отправился домой – там другая жизнь. Петр отличался от актера, пожалуй, тем, что у него другой-то жизни и не было: «дом» был один – мир, населенный людьми, разрозненными и злыми, как голодные лисы... И Петр Морев над всеми горестями, поступками людей подсмеивался, шутил, всякой беде и невзгоде находил легкое, порою даже возвышенное оправдание. Только к одному он относился всегда серьезно и тут, казалось, сходил со сцены.

– Учись ладнее, – говорил он, сам неграмотный, с благоговением и удивлением заглядывая в учебники сына. – Ведь вон на плотницкой работе... уж куда я все знаю, а подойдет инженер там али кто и разумную поправку внесет в мое дело. Глядишь: «Эхма, руки-то беленькие, сроду топора, видно, не держали, а умом человек тяпает». Богатство – это зря. От богатства люди звереют. А вот наука – ее забирай больше, охалками. Эх, мне бы малую толику грамоты, показал бы я всем, как жить. Перво-наперво... Впрочем, найдутся ученые и покажут, как жить надо. Верю. Может, ты будешь ученым – хорошо: ты испытал ее, жизнь, и горькую и сладкую. Не морщись, мать, мы слаще других живем: не ворует и никому глотку не грызем.

Он так и умер – неунывающим весельчаком.

После его смерти мать зачахла.

И однажды, лежа на постели, слабым голосом произнесла:

– Не обессудь, сынок, выпускаю тебя из гнезда, как неоперенного воробышка, – лети. Я что? Я веточка на дубе. Дуб отец был. Его подкосили, и я – веточка – повяла. – С этими словами она и скончалась.

6

Что дальше было бы с Акимом? Трудно сказать. Все на деревне утверждали: «Парень пошатнулся разумом». Он исхудал, жил взаперти, появлялся на улице только тогда, когда ему надо было сбежать в соседнее село, обменять там в библиотеке книги. Одновременно с ним и само по себе скудное хозяйство пришло в полный упадок: сарай осел крышей, двор зарос полынью, ветхий плетень покосился и ощерился прутьями. А владелец всего этого жил в мире мечты: путешествовал по Индии, Китаю, по Тибету, забирался в седую древность – к царю

персидскому Дарию, к Александру Македонскому, а прочитав книгу Фламариона по астрономии, отрывался от грешной земли и улетал в межпланетное пространство...

Так прошло больше года. И возможно, совсем захирел бы юноша, если бы не вмешался директор двухклассного училища Владимир Николаевич Марков. Он знал Акима как ученика «высокого дарования» и сам подписал ему похвальный лист, утверждая, что этот паренек далеко пойдет.

– Ну, вот и пошел. Ай-яй-яй! – входя в хату, видя по углам тенета, пыль, тощего, сидящего за столом над книгами Акима, воскликнул он. – А отец-то думал, что из тебя выйдет тот ученый, который миру укажет, как надо жить. Вот и указал. Ну-ка, если все возьмут пример с тебя, запрутся в хатах, да и начнут мечтать о пустяках... и превратятся вот в таких же дикарей, как ты: оброс, осунулся, глаза как у бездомной кошки. Собирайся! – тем самым голосом, властным, каким он говорил обычно с учениками, произнес Владимир Николаевич. – Сначала острижем тебя, потом – в баню, а после, когда человеческий вид примешь, думать будем.

Владимир Николаевич через несколько месяцев подготовил Акима, и тот сдал экзамен в пятый класс реального училища, находящегося в городе Вольске на Волге, после чего Марков продал скудное, оставшееся после отца Акима хозяйство, затем пошел с подписным листом к учителям, купцам, уверяя всех, что деньги нужны на учебу.

– Сироте, но очень способному. Не жалейте: он тройне оплатит вам, – и, собрав около пятидесяти рублей, передавая их Акиму, сказал: – Клянчить стыдно, по нужда велит... – И вскоре сам переехал в Вольск, поступив в реальное училище преподавателем русской истории. Здесь он порекомендовал Акима купцам, сыновья которых плохо учились:

– Пригласите Морева... Ученика нашего. Очень способный. Ну, заплатите ему в месяц восемь рублей, он и подтянет вашего сынка. Учителю надо платить пятнадцать – двадцать, а тут от силы восемь. Я помогу в случае чего.

Аким Морев стал давать уроки.

Несмотря на то, что он толково подправлял маменькиных сыночков, они стали более прилежными на уроках, лучше отвечали преподавателям, – несмотря на все это, он от купцов получил кличку Гордец – и только потому, что когда приходил в купеческий дом, то никому не кланялся, снимал шинелишку, аккуратно вешал ее в прихожей и, пригладив на голове непослушные, кудлатые волосы, произносил:

– Ученика за стол, – и никогда не оставался на чай.

– Чего же ты, братец, не говоришь мне спасибо: денежки на дороге не валяются, – выдавая за уроки восемь рублен, выговорил ему однажды купец Самоедов.

Аким резко ответил:

– Нет. Деньги порою валяются на дороге: обронит кто-нибудь. А разум никогда не валяется. Я вашему сыну передал частицу своего разума... потому не я, а вы должны меня благодарить. И говорите со мной на «вы», господин купец, иначе я в ваш дом не явлюсь.

– Ну, это ты слишком... слишком, – пригласив Акима вечером к себе на квартиру, посмеиваясь, говорил Владимир Николаевич. – Верно, но слишком... Говоришь, у Самоедова после твоих слов глаза вылупились, как у судака? Хо-хо! Ничего, придет время, не так вылупятся. Только ты подожди стрелять словами по купчишкам. Верно, разум на дороге не валяется. Ловко ты его. Однако потерпи: блох и тех поодиночке не перебеешь, потому до поры до времени держи язык за зубами. Голову перед ними не клони, но... и не фордыбачься, как говорят здешние мещане. С разумом все надо делать, – строже добавил, затем снова улыбнулся и захохотал: – Но здорово! Здорово ты Самоедова!

Заслышав в прихожей легкие шаги, вернее стук каблучков, Владимир Николаевич поднялся со стула, высунулся в дверь и весело воскликнул:

– Оленька! Пришла? А знаешь, кто у нас? Ты все спрашивала, почему он не заходит.

На него налетела, как ветерок, тоненькая девушка, одетая в форму гимназистки – коричневое платье, белый передник, белый воротничок, волосы, гладко причесанные, толстая коса через плечо сваливалась на грудь.

– Кто? Папа! Кто? – целуя его, спросила она, видимо радуясь больше встрече с отцом, нежели предстоящей встрече с тем, кто пришел.

– Аким, – ответил отец.

Оля заглянула в комнату и вся вспыхнула, загорелась, а отец, повернувшись к ней, к такой растерянной, сам растерялся и, думая: «А ведь она уже большая... ей тоже пятнадцать, как и Аким», – проговорил:

– Спрашивала ты, почему Аким к нам не заходит. Видишь, зашел. Ну, побеседуйте, а мне надо письменные работы учеников просмотреть.

Приблизительно через час в комнату снова вошел Владимир Николаевич и, видя, как его дочь и воспитанник весело разговаривают, сидя за столом друг против друга, положил одну руку на голову Акима, другую на голову дочери.

– Хорошие вы у меня оба... Только пора вам за ум братья. Математика, история, география, физика... все это очень, очень хорошо. Изучайте. Но надо еще иметь и свой глаз на мир. Почитайте и те книги, которые в программу не входят. Хотя бы вот эту. – Он сходил в кабинет, принес толстенькую книгу и положил ее на стол. – Это статьи по политической экономии Туган-Барановского. Фамилия-то какая? Туган да еще Барановский. Но пусть она не смущает вас. Читайте вдвоем... Час в день. Что непонятно, спросите у меня.

– Папа! Запрещенная? Наконец-то, – с восхищением глядя на отца, прижимая к себе книгу, спросила Оля.

– Нет. Автор даже премию получит... от царя. Однако полезного много. – Владимир Николаевич боялся дать им «запрещенную» книгу: по наивности похвалятся и разболтают. Книга Туган-Барановского была ходовая: автор стремился свести воедино идеологию рабочих и капиталистов, называя последних прогрессивным классом... И Владимир Николаевич при обсуждении того или другого непонятного места в книге умело отбрасывал все нелепое, растолковывая юнцам доподлинные законы политэкономии.

Так, в учебе, труде, все в большем и большем сближении Оли и Акима, у которых дружба уже перешла в светлую любовь, пробежали годы. За это время пронеслась империалистическая война и свершилась февральская революция.

В эти дни Владимир Николаевич Марков, до сей поры малозаметный преподаватель истории в реальном училище, вдруг стал общеизвестным в городе: на цементных заводах, расположенных по берегу Волги, в средних учебных заведениях, сельских школах – всюду появились не только сторонники партии большевиков, но и настоящие ее бойцы, таившиеся до этого в «подполье». Всеми ими руководил Владимир Николаевич, а сам в свою очередь был связан с группой большевиков Москвы и Питера, а через них и с Владимиром Ильичем Лениным.

И наступила жизнь – бурная, сложная; люди, создающие новый строй, умели яростно драться с оружием в руках на фронтах Гражданской войны, но чтобы управлять страной, у них пока что еще не было опыта, и, несмотря на это, советская власть росла, крепла, проникала в самые глубины народных масс... и всем, особенно молодежи, казалось, вот-вот они очутятся в коммунизме.

– Не надо, Оленька, – однажды, уже будучи ответственным секретарем уездного комитета партии, сказал Аким Морев, радостно поблескивая глазами. – Не надо. Ну зачем ты повесила эти кружевные занавески? Мамины, говоришь?.. Спрячь их. Это мещанство, занавесочки на окнах. Подожди... ну, еще два-три года... и у нас появятся прекрасные столовые, замечательные дома-коммуны, тогда выберемся мы из этих квартирок, затхлых уголков мещанства.

И Ольга спрянула мамины занавески: она тоже мечтала о коммунизме и, ероша кудлатые волосы Акима, глядя куда-то в радостную даль, произносила:

– Да. Да. Комиссар ты мой косматый! – Так прозвали мещане Акима Морева за его шевелюру.

Но вскоре к ним зашел Владимир Николаевич. Посмотрев на оголенные окна, на запыленные стекла, на давно не метенный пол, на неубранную кровать, гневно обрушился:

– Ай-яй-яй! В такой обстановке я уже однажды видел Акима. Ну, тогда он «путешествовал». А теперь? Теперь ему партия доверила большое дело... А он? Немедленно, Оленька, повесь занавески, немедленно убери постель, подмети пол. Это не мещанство, а вот грязь, неряшливость хуже мещанства.

А когда отгремели раскаты Гражданской войны, когда был пережит страшный голод в Поволжье – год тысяча девятьсот двадцать первый, – когда промышленность стала восстанавливаться, когда сельское хозяйство пошло на подъем, Владимир Николаевич вызвал к себе на квартиру Акима и Ольгу. Усадил их за стол, сказал:

– Вот что, молодая чета. Марш учиться: нам нужна своя интеллигенция.

– Мы же... мы уже учились, Владимир Николаевич, – уважительно возразил Аким Морев. – Я окончил реальное, у Оленьки аттестат зрелости.

– Зрелость сия еще зелена, – полушутя произнес Владимир Николаевич. – Тебе, Аким, надо стать инженером, тогда наступит настоящая зрелость. Знаю, увлекался ты горным делом – поступай в горный институт. Тебе, Оленька, доченька моя, надо стать врачом. Увлекалась медициной – поступай в медицинский.

– И жить отдельно... от тебя, папа? – вырвалось у Ольги.

Владимир Николаевич усмехнулся:

– От меня отдельно – еще не беда. Чую, о ком речь. Да, придется. На каникулы приезжайте ко мне гостить...

По окончании институтов Аким Морев и Ольга выехали в Сибирь на строительство металлургического комбината. Здесь Аким Морев с группой разведчиков-геологов больше двух лет провел в горах Ала-Тау, изучая богатства недр, а Ольга работала в больнице. Затем он был избран секретарем городского комитета партии и за стойкость в борьбе с уклонистами всех мастей получил оценку в партии: «Морев – это человек с металлом в груди».

Так вот этот «человек с металлом в груди» чуть было не рухнул, как иногда рушится железобетонный мост, подточенный потоками реки.

На страну нахлынуло народное бедствие – война. Ольга, как врач, была призвана в армию и погибла в Берлине седьмого мая тысяча девятьсот сорок пятого года.

Ужас сковал Акима Морева.

Он первое время еще отвечал на сочувствие:

– Что ж. Да. Ничего не поделаешь. Слезами не поможешь... – Но все видели, как щеки у него вваливаются, глаза глубоко западают, и в них с каждым днем растет такая грусть-тоска, что кажется, они вдруг заполнятся безумием.

Аким Морев выдержал. Но рана не зажила, рана невидимо для посторонних глаз все время сочилась... Только самые близкие друзья понимали его душевное состояние и стремились излечить обычными житейскими медикаментами – «подобрать друга жизни», но и они понимали, что «он еще не отошел от Ольги»...

И сейчас, облокотясь на капот машины, Аким Морев смотрит в непроглядную тьму, и все время ему кажется, вот-вот из степей появится Ольга. Да вот она: все такая же тоненькая, с улыбающимися губами, идет к нему, протянув руки, и что-то неслышно шепчет.

В таком состоянии Аким Морев находился бы, очевидно, еще очень долго, если бы не крик Федора Ивановича:

– Едут! Право, едут. Давайте сигналить. Не пропустить бы, тогда жди – не дожدهшься.

Глава третья

1

Тьму настойчиво и упрямо разрезали ярчайшие прожекторы. Они бросали лучи то в небо, то в стороны, то вдруг скрывались и снова выныривали. Казалось, они неслись прямо на людей, стоящих около костра, и еще казалось, – они где-то вот тут, рядом.

– Что же делать? Что делать? – суетясь, вопил шофер. – Бензин бы был, мы бы такое запалили, сам начальник пожарной команды из Астрахани прискакал бы к нам. А тут? Что же делать-то, товарищ академик? Вы ученый.

– Да ведь машина рядом. На нас идет. Чего беснуетесь?

– Рядом? Километров тридцать. И не одна, а две... Свет слился у каждой в один пук. Ближко будут, тогда появятся четыре фары. Давайте. Ну, что? Давайте стрелять. Живо – за ружья, – и шофер первый, выхватив винтовку, выстрелил.

Аким Морев и академик встали в ряд и дали из ружей залп за залпом, затем перезарядили и снова выстрелили, а прожекторы, словно чего-то перепугавшись, сначала скрылись, затем рванулись вправо и помчались, разрезая тьму, уже куда-то в сторону от костра.

– Бейте! Палите, – прокричал шофер, – бейте что есть сил! – И снова выстрелил, после чего горестно произнес: – У меня пульки все. Нету.

Будущий секретарь обкома и академик, стоя в ряд, начали палить – раз за разом, раз за разом, слушая команду и информацию шофера:

– Вправо пошли! Бейте! Ага! Повернули. Бейте. Ага! Бейте! Ух, улепетывают влево. Бейте! Раз – два! Разом – хоп!

Два человека, вскинув ружья в небо, били, били... били. Стволы стали горячими, а патроны в коробках все убывали и убывали, на что довольно печально посматривал Федор Иванович, однако командовал:

– Раз – два! Хоп! Раз – два! Хоп! Ага! Теперь уже близко: четыре глаза. Пали-и-и! – заорал он, когда свет фар резко свернул влево и вдали неожиданно мелькнули красные сигнальные огоньки, говорящие о том, что машины пошли обратно. – Давай, давай, давай! – кричал шофер.

Аким Морев и академик снова принялись стрелять из ружей. Они били беспрестанно, и чем дальше, тем больше у них росла тревога: шоферы за гулом моторов не слышат выстрелов, пронесутся мимо, и тогда сиди – без бензина, без патронов, без связи с внешним миром. Кто и когда сюда заглянет? Ведь вон убегают и убегают красные фонарики. Вдруг и они погасли. Погас и костерик. Только вспышки выстрелов режут небо, точно огненные кинжалы.

– Все, – проговорил академик, когда красные фонарики утонули во тьме. – Безнадежно. Они нас не слышат и не видят вспышек. Зря только патроны потратили, – и, обессиленный, опустил на траву.

Наступила тишина, снова зазвенели степи, снова где-то стали переговариваться куропатки, и затявкала в стороне лиса.

– Ах, на ветер, на ветер, – тихо, но с такой досадой промолвил академик, что шофер взмолился:

– Да ведь я не нарочно, Иван Евдокимович.

– Еще бы нарочно... тогда вас судить бы надо самым страшным судом.

И вдруг с тыла на боковину машины упали отблески фар. Они какую-то секунду ошупывали ее, пробиваясь во все щели, и моментально угасли.

– Что такое? – Академик поднялся с травы и вместе со всеми повернулся в сторону котлована, откуда за секунду перед этим ударил свет.

– Чудо не чудо... а что-то вроде... – растерянно произнес Федор Иванович и шагнул во тьму.

– Да не таскайтесь вы туда! – раздраженно предупредил Аким Морев. – Еще вас потеем, тогда совсем по-волчьи завоем.

Из котлована послышался гул мотора, затем свет фар ударил так высоко в небо, точно машина стала на попу, и тут же свет опустился, заливая ярчайшим блеском «газик», путников, засевших в степи без бензина.

– О-ох, – со стоном вырвалось у академика.

Он еще что-то хотел сказать, потому и вскинул правую руку, но около него уже остановилась старая, давнишнего выпуска легковая машина «ЗИС». Она дребезжала, хрипела, поскрипывала. Крылья у нее залатаны вкось и вкривь, – вот почему своим видом она напоминала солдата, который выдержал десятки героических боев под командой самого Суворова.

Следом за «ЗИСом» остановилась и грузовая.

Из легковой вышел человек лет под тридцать, подвижный, быстрый на ногу, и, глянув на людей у костра, с украинским акцентом проговорил:

– Шо вы тут палите? Аж небу жарко. Едем мимо, глядим, палят и палят, стало быть, беда. Ну, шо вы? Отвечайте, как на духу. А то – повернем и до свидания – прощай. Я директор Степного совхоза, Иван Андреевич Любченко. – Познакомившись с академиком и Акимом Моревым, он словоохотливо продолжал: – Рискованно, рискованно поступаете, – говорил он, внимательно рассматривая Ивана Евдокимовича. – А вы, значит, академик Бахарев! Слыхивали... одним ухом... и то краешком, о таком академике, – и неожиданно громко рассмеялся. – Слыхивали, Иван Евдокимович. Ой, как слыхивали. Ну-ка, дайте я еще раз пожму руку. Ух, рад-то как я, Иван Евдокимович. Значит, в наши края решились понаведаться? Давно вас не было. А мы тут – ваши продолжатели... куем помаленьку победу. Петрарко, – закричал он. – Давай, что у нас имеется там такое... чтобы пожевать и запить. Шофера Петраркой зовем, – снова обратился он к академику. – Он по паспорту Петр Алексеевич Вертихвост. Некрасиво – Вертихвост. Так мы его еще величаем Петр Великий номер два. Петр Великий второй – громко и не соответствует истине, а Петр Великий номер два – в точку.

Из грузовой машины выбрался шофер громадного роста: не становясь на подножку, он запустил руки в кузов грузовой машины и выволок оттуда рюкзак, чем-то доверху набитый, одновременно достал препорядочный чемодан и все это поднес к костру, будто две пуховые подушки.

– Вот он какой у нас. Видите, Иван Евдокимович? Иногда критикуешь его за что-нибудь, а он висит над тобой, точно скала. Говоришь: сядь, Петро, а то до твоего уха слова мои не долетят.

– А бензинчик? Бензинчику бы, – спросил Федор Иванович.

Любченко посмотрел на него и, выкладывая из рюкзака на траву закуски, сказал:

– Сто рубликов за литр – согласен? Нет? Беги в другую колонку. Она рядом, всего каких-нибудь двести километров. Прижмем, Петр Великий номер два?

– Эдак! Прижмем, – забасил тот и, поперхнувшись, еще гаркнул: – Так их, Иван Андреевич! В ежовые рукавицы.

– В ежовые! – подхватил Любченко, открывая чемодан и выставляя оттуда бутылку водки. – Ну, пируем.

– А у нас шашлык есть, – сообщил Аким Морев.

– Шашлык? Ну и его давайте сюда.

Федор Иванович кинулся к костру и... и, достав оттуда обуглившиеся ребра сайгака, растерянно произнес:

– Во-от!

– Да-а. Это шашлык-башлык, – и Любченко расхохотался. – Ничего: нашим домостряпным закусим, заводским запьем. Первую чарку, конечно, академику, вторую, не знаю вашего имени, отчества, товарищу Мореву, третью – мне, а шоферам по чайному стакану. Таков закон степей, – торжественно провозгласил он и подал чарку Ивану Евдокимовичу.

Аким Морев, усмехаясь, сказал:

– А «шабаш», Иван Евдокимович? Побоку?

– Придется. Нельзя с таким учеником не выпить. Не знаю, как победу кует, но выпить, видимо, не дурак.

– Благословен Господь, – рявкнул шофер-великан, беря стакан с водкой.

Казалось, в его огромной руке не стакан, а наперсток и сейчас великан одним махом опрокинет содержимое в рот и даже не поморщится, а он начал тянуть, причмокивая, присвистывая, все больше и больше закидывая голову назад, – да так и выдул.

Все выпили, закусили и почему-то некоторое время молчали.

– Так, – нарушая тишину, заговорил Любченко. – Вас, товарищи, я покинуть не могу. Как хотите, сердитесь, не сердитесь, но успокоюсь только тогда, когда сдам на руки райкому. Что же делать? – Он долго смотрел на то, как его шофер грызет баранью кость, затем сказал: – Вот что, Петрарко, на Черные земли беги один. Баранчиков там сгрузишь, давай обратно. – И к академику: – Баранчиков-производителей отправляем к дамам-овечкам. А ваш шофер откуда?

– Из Астрахани, – ответил Федор Иванович, уже радостно улыбаясь, чувствуя, что с бензинчиком «дело выгорит».

– Ну, и езжай себе в Астрахань.

– А бензинчик?

– Бензинчику часть дадим сейчас, а на нашей точке – километров за сто пятьдесят отсюда – Петр Великий номер два зальет с головушкой.

– Эдак. Согласен. Да. И мясо?.. Оно уже воняет, наверное, товарищ академик, – повернувшись к Ивану Евдокимовичу, плутовски поблескивая глазами, как бы между прочим, проговорил Федор Иванович.

– Сайгак? Возьмите себе, – ответил тот, думая: «Тронулось мясо... такое не годится в подарок... Ой, врешь!» – мелькнуло у него, когда он увидел плутовские глаза шофера, но уже было поздно: согласие дано.

– Одна беда, – проговорил Любченко, – на грузовой радиатор течет.

– Колодец рядом, – вступился Аким Морев.

– Вода для радиатора не годится: соленая, – отверг Любченко.

– Федор Иванович, так вы отдайте ту, из бачка, что вчера набрали, – посоветовал академик.

– Эх! А я как в случае чего?..

Иван Евдокимович сердито развел руками:

– Вы уж готовы и дорожной пылью торговать.

2

Анна стояла на парадном крылечке, под навесом, украшенным резьбой и разрисованным сине-белыми красками. На ней было желтое в клеточку платье, утренние яркие косые лучи озолотили его. Держа козырьком руку над бровями, она смотрела в сторону пригорка, по которому спускалась шумливая машина.

Эту машину в районе знали не только ребяташки, но и каждый колхозник, не говоря уже о милиционерах. Она отличалась ото всех остальных многими свойствами и приметами: во-первых, была больше всех легковиков, семиместная, во-вторых, окрашена уже и не поймешь в какой цвет, не то в сизо-черный, не то в рыже-зеленый. Все цвета виднелись на ней, и люди

говорили: «Бежит пегашка нашего директора». В-третьих, она своим невероятным шумом и грохотом всегда давала о себе знать, как пущенная с горы пустая бочка: в машине все клокотало, хрипело, скорости переводились с таким воем, что казалось, мотор вот-вот разлетится на части. Но она бегала, и многие даже завидовали Любченко:

– Ему что, сел, да и побежал в любую сторону, – здесь так и говорят, не поехал, а «побежал», «сбегаю», «сбегал»... это километров этак за двести – триста.

Анна Арбузина, глядя в сторону пригорка, слыша скрип, треск, урчание «пегашки», думала:

«Что случилось с Любченко? Побежал на Черные земли и вернулся. Должно, в райисполком по каким-то спорным делам. Неугомонный мужик».

Но машина завернула не влево, к райисполкому, а вправо и громыкает уже той улицей, на которой стоит домик Анны Арбузиной.

«Должно быть, к зампреду колхоза Вяльцеву». Анна усмехнулась одними только губами, а глаза остались все такие же напряженные: хотелось ей видеть Ивана Евдокимовича Бахарева, – вот почему она всякий раз, завидя на пригорке машину, выбегала на крылечко и напряженно смотрела – кто едет? Ждала Ивана Евдокимовича и стыдилась этого ожидания, думая: «Зачем я ему?.. Он ученый, а я? Что я? Так себе». Но ведь сердце не всегда слушается разума, и оно заставляло Анну выскакивать на крылечко: «Не заедет. Ну, где? Поговорил-поговорил, да и забыл про меня. Забыл, ясно-понятно, – повторила она приговорку Вяльцева. – Вот этот не забыл бы... Помани только. Ох, ухах так ухах. А сердце не манит его... зовет Ивана Евдокимовича. Глупенькое», – прошептала она и хотела было скрыться в домике, как машина все с тем же грохотом, фырчанием, визгом, вся трясясь, ровно норовя подняться и улететь в облака, остановилась у крылечка, и Анна внезапно увидела седоватую красивую голову академика.

– Ох, – и она чуть не присела прямо на ступеньку, но тут же спохватилась. – Нехорошо. Что подумают? – А краска залила ее щеки, лоб, затем быстро стерлась бледностью, и снова щеки запылали. И уж сама не знает как, спроси – не помнит, сбегала по ступенькам, открыла дверку и вымолвила: – Иван Евдокимович!

– Да, да! – заговорил академик. – Да. Так. Да. Хотели – гуся... лебедя... Да. Или сайгака. Да. Ну вот. Да. Здравствуйте, Анна Петровна. Да. – Он из машины не выбрался, как обычно: сначала покряхтит, выкинет ногу, весь перегнется и еще покряхтит, – он вывалился разом весь и стал перед Анной, высокий, огромный, держа в левой руке шляпу, а правую протягивая Анне Арбузиной.

– Проходите, проходите, Иван Евдокимович, – говорила Анна, придерживая его под локоть, словно боясь, что академик сейчас вырвется. И только, поднявшись на крылечко, спохватилась: – Батюшки! Про товарища вашего забыла...

– Мы сначала в райком, Анна Петровна, – выставляя из машины чемодан академика, проговорил Аким Морев. – А потом к вам. Готовьте самовар.

– Да уж вскипачу, – ответила она и, подхватив чемодан, поспешила за гостем, говоря: – Не гневайтесь, Иван Евдокимович... а я уж прямо скажу – все глаза проглядела: ждала вас... По саду у меня к вам вопросы. Да, по саду, – и потупилась, как девушка перед желанными сватами.

– Я не специалист по садоводству-то, Анна Петровна, – вымолвил Иван Евдокимович, тоже смущаясь оттого, что они так неожиданно остались вдвоем.

– Умойтесь с дороги-то, – проговорила Анна, ощущая, как в ней пробуждается еще и материнское чувство к нему – к этому большому седоватому человеку.

3

Не успел Аким Морев по-настоящему познакомиться с секретарем райкома партии Лагутиным, как в кабинет вошел председатель райисполкома Назаров.

Лагутин, высокий, поджарый и сильный, всем своим обликом напоминал татарина: темные, глубоко запавшие глаза, черные волосы, непослушные, точно проволока, подбородок широкий, выдавшийся вперед, брови тоже черные, густые. У него привычка то и дело опрavlять ремень на синей гимнастерке, и опрavlяет он его так, словно собирается вскочить на коня.

«Здесь где-то недалеко развалины Городища – стоянки Батыя... Триста лет тут владычествовали татары... видимо, что-то от них перепало Лагутину», – рассматривая секретаря райкома, думал Аким Морев.

Назаров, в противоположность Лагутину, весь какой-то светло-прозрачный. У него прозрачные глаза, пушистые и белесые, будто переспелый ковыль, волосы, брови же совсем выпцвели, да и ростом он ниже Лагутина. Лагутин выдержан, спокоен в разговоре. Назаров весь кипит, как кипит разбушевавшийся самовар: раз начал, так уже не удержать.

Еще с порога, не успев осмотреться, познакомиться с Акимом Моревым, Назаров выпалил:

– Академик приехал, Бахарев. Вот это праздник для нас. Здравствуйте, – обратился он к Аким Мореву. – А вы с ним? Помощник его?

– Пожалуй, ученик, – улыбаясь, ответил Аким Морев, вглядываясь в расторопного Назарова, затем сказал: – Давайте уж открыто: меня рекомендуют к вам в область вторым секретарем обкома. На пути академик встретился, ну я и пристал к нему: учусь. И вы меня ознакомьте с вашим районом. А Бахарев у Анны Петровны Арбузиной остался. Устал. Пусть чуточку отдохнет.

– Захватила-таки, – с досадой вымолвил Назаров. – Ой, баба! Бой-баба. Она его одним садом своим замучает.

– Она что ж – садовод? – продолжая разговор, намеренно спросил Аким Морев.

– Да. Такая настырная. Сад вырастила... Колхозный... ну и никому покою не дает: яблоки, груши – пуп земли.

– Агроном?

– Где там. – Назаров отмахнулся. – Доморощенный садовод, но вцепилась, как клещ, – не оторвешь.

– А зачем отрывать, Ефим? – сказал Лагутин, предупреждающе-подчеркнуто постукивая тупой стороной карандашика по настольному стеклу.

– Да я и не отрываю. Пускай. Только вот академика полонила – это ни к чему. А что касается нашего района, то, перво-наперво, у нас землицы один миллион гектаров да еще гачек в сорок тысяч. Из конца в конец наш район – двести километров. Ну, что еще? Чем вас, товарищ Морев, еще удивить? – проговорил Назаров и громко засмеялся. – Велика и обильна... А толку маловато. К нам сюда, в Разломовский район, людей, бывало, вроде в ссылку отправляли. Правда. Вызывают человека и говорят: «Обком считает нужным направить вас на работу в Разломовский район», человек бледнеет, затем умоляюще спрашивает: «За что, товарищи, наказываете? Будто все хорошо у меня на работе, а вы меня в Разломовский район?»

Аким Морев подумал: «Вот как наш брат иногда поступает неосмотрительно», – и спросил:

– А вас тоже против вашей воли сюда послали?

– Нет... Я и Лагутин – агрономы, заражены идеей: полупустыню превратить в цветущий край. Сами напросились, да и сбежать уже готовы. – Назаров неожиданно горестно рассмеялся и испуганно посмотрел на секретаря райкома. – Что? Может, лишнее сболтнул? А?

– Тебя что-то прорвало, – грубовато отметил тот. – Видите ли, товарищ Морев, тяжело здесь, конечно: земли много, а людей нет. На каждую живую душу до ста гектаров. На живую, а на рабочую и того больше. Управься. Да и не в этом дело. Нам всю землю осваивать под посев зерновых и не надо. Овцеводство, скотоводство – вот главнейшее направление нашего района.

– Старая песенка. – Назаров вскипел. – Признаю – овцеводство, признаю – скотоводство. Но ведь это и до нас с вами, Степан Иванович, было? Овцы, чабан... и полупустыня. Люди даже говорить разучились: с овцами покалякай-ка!

Лагутин снова постучал тупой стороной карандашика по стеклу, и Назаров, глянув на карандашик, весь сжался.

– Наш председатель райисполкома – сторонник внедрения зерновых, особенно засухоустойчивой пшеницы сорта академика Бахарева, – пояснил Лагутин, сурово посматривая на Назарова, как бы говоря ему: «Ты же просил, чтобы я тебя, когда зарываешься, предупреждал стуком карандашика. Стучу, а ты?»

– Вот почему меня и возмущает поведение Анны Арбузиной. Тут проблема для всего района, а она академика полонила. Когда-то еще к нам он попадет, – забыв о предупреждении, снова загорелся Назаров.

– Попадет! – загадочно улыбаясь, ответил Аким Морев.

– Ну, жди! А она его заполонила. Шутит. Те же гослесопосадки. Распахали, да ведь не гектар, а тысячи гектаров... труда сколько положили, хлопот... тревоги... а вместо дуба выросла трын-трава. Да не стучи ты карандашиком! – Назаров сердито отмахнулся от Лагутина и опять обратился к Акиме Мореву: – Вот вы будете секретарем обкома, вторым или первым. Все одно, вышка большая... Только меня удивляет иногда, сидите вы на высоких вышках... и частенько ни хрена не видите... Вы простите меня. Конечно, если вы были уже секретарем, я бы вам такое не сказал. Пользуюсь случаем, откровенно говорю.

– Откровенность еще не истина, – возразил Аким Морев.

– Ну вот, сразу вы и ошпариваете меня с большой вышки.

– Совсем наоборот, – снова возразил Аким Морев. – Хочу больше знать.

– Сказать? – пристально глядя на Лагутина, спросил Назаров. – Открыть то, о чем вдвоем говорим?

– Что ж, раз уж начал, – Лагутин недовольно пожал плечами.

Назаров чуточку подождал, затем отошел в сторонку и, приняв позу оратора, начал:

– Постановление правительства о строительстве Приволжского гидроузла есть? Есть. О строительстве канала Волга-Дон в действии? В действии. Постановление о гослесопосадках в широких масштабах есть? Есть. «Мы все это приветствуем», – заявляете вы со своей высокой вышки. «И мы с величайшей радостью приветствуем», – отвечаем мы. «Так проводите в жизнь». – «Проводим». Вот уже третий год занимаемся лесопосадками. Одним и тем же методом... в широких масштабах... Третий год вместо дуба появляется трын-трава. А Малинов – первый секретарь обкома – жмет: «Проводи».

– Ну а что же он должен сказать? «Не проводи»?

– Видите, товарищ Морев, как вы не любите критику, – обидчиво проговорил Назаров.

– Я еще не знаю такого человека, который любил бы критику, как, например, любят жареного гуся. Вы ее тоже не любите. Доказательство: я критикую ваши доводы, а вы обижаетесь.

– Да поймите вы, нам здесь в тысячу раз труднее, чем вам там, на областных вышках. Вы что? Постановили, спустили в «низы» – и давай, разрабатывай новое мероприятие, – с досадой произнес Назаров.

– И тут вы не правы. Разработать правильное мероприятие – дело весьма сложное: надо тщательно изучить жизнь в данной области, учесть возможность выполнения поставленной задачи и даже предвидеть – каков будет итог. Понимаете, как это сложно? Непродуманное мероприятие приведет к дурному результату, а он вернется в обком, ляжет на стол первого

секретаря, и хочет или не хочет этого секретарь, но подобный результат отправляется в Центральный Комитет, после чего туда вызывают не Назарова и не Лагутина, а Малинова и говорят ему: «Вы теряете доверие Центрального Комитета партии». Знаете, что это такое – потерять доверие Центрального Комитета партии?

– То же самое, что для нас – потерять доверие обкома, – с легкостью произнес Назаров.

– Уменьшаете, ну да ладно. Так вот и прошу вас – расскажите мне о ваших трудностях... тем более, я еще пока ни на какой вышке не нахожусь, – улыбаясь, проговорил Аким Морев.

Лагутин до этой минуты больше молчал, «изучая и взвешивая» Акима Морева, но сейчас заговорил:

– Вы, товарищ Морев, правильно поймите Назарова: он не болтун. Горячий, язык за зубами держать не умеет. Да ведь иногда так припрет, что и не удержишь, – продолжал Лагутин, тщательно подбирая слова, выгораживая Назарова и одновременно поддерживая его. – Видите ли, устремления, желания преобразовать природу у нас и у народа – хоть отбавляй. Тут агитировать, пропагандировать – все равно что голодного уговаривать, чтобы он сел за стол. Да. Желание, устремление есть, но... но мы никак не уцепимся... Понимаете? К примеру, плывет по Волге баржа с хлебом... Говорят: «Ваша баржа. Лови ее!..» А у нас ни баркастика, ни лодки, ни канатов... Бегаем мы по голому берегу и кричим: «Лови ее! Лови! Хватай!» Ну... а баржа по течению плывет себе и плывет.

– Вот, – снова взорвался Назаров. – Нам в следующем году предстоит освоить три с половиной тысячи гектаров орошаемой земли. Надо около двух тысяч человек, чтобы обработать поливной участок. Где люди? Верно, бегаем по берегу и кричим: «Лови ее! Лови!» Или мы лет восемь тому назад построили плотину. Воды скопилось – ужас: пруд протяжением на семь-восемь километров. Оросительную сеть провели, под орошение землю разработали – больше тысячи гектаров... Поливать стали. Это в полупустыне-то... А она, матушка-земля, засолилась... Вот так покорители природы! А нам кричат: «Что у вас там за безобразие?» У нас сердце кровью обливается, а нам: «Безобразие». Да мы что – специально эшелоны соли высыпали на участок? Вы сами подумайте, как бороться с засолением... Ведь по всей-то области предстоит, как я слышал, в ближайшие годы освоить под орошение и обводнение до трех с половиной миллионов гектаров...

«Сложное дело – преобразование природы. Но не порем ли мы тут горячку?» – отметил в уме Аким Морев, а Назаров продолжал, резко переменяя разговор:

– А тут еще Анна академика полонила. Ох, идут, – глянув в окно, воскликнул он. – Нет, вы только посмотрите! Посмотрите, что руками-то разделяет. Точно перед ней не академик, а она сама сверхакадемик. Вишь, что-то доказывает. Ну, ясно, о яблоках: ладони как складывает, вроде что-то круглое в них. Ну и баба, черт бы ее пощекотал.

Сережиной улицы шли академик и Анна Арбузина. И он и она были празднично разодеты: на Иване Евдокимовиче серый, тщательно отутюженный костюм, серая шляпа, галстук голубой, в крапинку, на ней синее платье, очень идущее к ее полной, но не толстой фигуре. Он подтянут, а она, забыв, что идет улицей, что на нее односельчане смотреть могут, всем видом говорит: «Я твоя, Иван Евдокимович». Она шла и о чем-то страстно толковала, то показывая что-то круглое в ладонях, то вытягивая руку, и на уровне своей головы задерживала ее, как бы утверждая: «Вот такого роста». Он шел молча, смотрел на нее и улыбался. Они свернули к зданию райкома, постояли перед входом, видимо думая, идти или не идти, затем Анна шагнула первая, зовя академика глазами... и вот они уже оба входят в кабинет Лагутина.

– Иван Евдокимович! – Назаров кинулся к академику и, схватив его за обе руки, начал их так трясти, что у того затрясся подбородок. – Учитель мой! Здравствуйте! Как мы рады видеть вас!

– Ну, ладно изливаться-то. Ох, накурили. Видимо, «прю» разводили? Давайте все ко мне: Лена пельмени смастерила! – скомандовала Анна. – Эй, председатель, оторвешь руки-то у Ивана Евдокимовича, – ревниво прикрикнула она.

4

Самовар уже буйствовал на столе, когда в домик ворвалась ватага преобразователей природы. Чистая, просторная комната, любовно прибранная женскими руками, вдруг стала маленькой и тесной.

– Усядемся. Усядемся, Анна, – гремел Назаров. – Разместимся. Знаешь, в тесноте, да не в обиде. Не обидишь ведь нас? Сажай академика на первое место, чтобы мы все его видели... рядом со мной сажай...

– Сама сяду, – решительно заявила Анна.

– Ну! Значит, в академики метишь?

Анна вспыхнула:

– Недоступная дорожка... даже грех шутить. А вот рядом с академиком посижу. Лена, давай, – и пояснила всем: – Сегодня Лена мне сказала: «Ты у меня тоже вроде гостя. Я за всеми ухаживаю». Как перечить, раз сестра требует, да еще не простая, а с образованием.

На столе уже стояли закуски – жареные сазаны, красные помидоры, капуста, огурцы и два графина с водкой. В одном она была светлая, в другом подкрашенная, видимо, вишневым соком. А среди всего этого красовались арбузы, дыни – знаменитые степняки.

– Что ж, Иван Евдокимович, «шабаш» опять побоку? – заговорил Аким Морев, почему-то чувствуя себя здесь, в этой светлой комнате, так хорошо, как будто находился у своих лучших знакомых.

– Да уж придется побоку. Аким Петрович меня укоряет: в первый день, когда мы сели на теплоход, я коньячку выпил и сказал: «А теперь – шабаш». Да не выходит у нас «шабаш», – пояснил академик.

– И не выйдет, – вмешалась Анна. – Если не выпьете, хотя бы по рюмочке, не выпустим из села.

– Все дороги перероем, овец гурты сгоним – а у нас их около двухсот тысяч, – и не проедете. Верно! – подтвердил Назаров. – А вот где у нас директор? Легок на помине, – еще не видя Любченко, но уже слыша грохот машины, проговорил Назаров. – Несется на своем громыхале.

Через какую-то минуту перед окном – была видна только верхняя часть – остановилась машина, вздрагивая и отфыркиваясь перед тем, как замереть. И тут же, вытирая потное лицо, в комнату вошел Любченко.

– Где пропадал, директор? – спросил Лагутин.

– Прошу извинения: ездил на ферму. Баранчика закололи... Гостей надо подкормить, – ответил тот, присаживаясь к столу.

– Тэ-эк, – протянул неузнаваемо помолодевший Иван Евдокимович, видимо, потому, что рядом с ним сидела разрумянившаяся и тоже помолодевшая Анна. – Тэ-э-к, – еще раз протянул он и загадочно, хотя в глазах у него играли озорные огоньки, начал: – Я как-то... давненько, положим, это было... заехал в сельскохозяйственную коммуну. Ну, побыл там дня два и уехал в совхоз. На обратном пути снова решил завернуть в коммуну, дабы кое-что дополнительно выяснить... и попал на отчетное собрание. Оно уже шло. Чтобы не нарушать хода событий, я притулился у двери и до конца выслушал доклад председателя коммуны. Тот докладывал и о приходах и расходах... и вот я слышу: «На прокорм московского гостя, ученого Бахарева, потрачено тысяча сто двенадцать яиц... семнадцать килограммов мяса, шесть килограммов масла»... Я протер глаза, думая, не во сне ли?.. Верно, мы каждое утро с председате-

лем ели яичницу... но тысячу яиц вдвоем за два дня никак не съешь или там семнадцать килограммов мяса. Видимо, ошибся докладчик. Кончилось собрание, я подхожу к председателю и говорю: «Как же это вы там относительно яичек и мяса с маслом-то? Ошиблись?..» – «Ой, батюшки, – он даже обнял меня и на ухо шепнул: – Ну а на кого же списать, как не на вас?»

За столом грохнул хохот.

– Теперь, стало быть, на волчишек баранчика спишите или на академика? – когда хохот смолк, добавил академик.

За столом снова грохнул хохот.

– На волчишек? Нет, Иван Евдокимович. У меня есть свой директорский фонд, утвержденный правительством: имею право, как миллионер-овцевод, принять гостей. А волчишек не стало. – Любченко со скрытым сожалением засмеялся. – Как только было дано указание «порванных волками овец относить за счет чабанов», так и волки куда-то скрылись.

– В Америку сбежали, – пошутила Анна, тревожно посматривая на дверь, видимо, боясь, сумеет ли сестра принять гостей.

И вот в комнату вошла Елена – сестра Анны. Она была почти такого же роста, как и Анна, но то, что она – тонка, подвижна, и, стоя на порожке, казалось, вот-вот вспорхнет, – все это делало ее как будто выше Анны. У нее такой же в загаре лоб, такие же синие глаза, но и глаза и лоб в то же время другие: лоб обрамлен непослушными каштановыми густыми волосами, глаза с блеском, у Анны румянец вспыхивает, когда та волнуется, у этой румянец горит во всю щеку постоянно.

– Здравствуйте, – сказала она и, шагнув к столу, взяла графин и принялась наливать первую рюмку для академика.

– Постойте-ка. Да мы сами, – запротестовал Иван Евдокимович.

– Нет, Иван Евдокимович, у нас закон такой – разливает хозяин. Ну а раз хозяина нет, то – хозяйка, а раз хозяйка превратилась в гостью, стало быть, Лена разливает... И вы уж не перечьте, – попросила Анна.

– Да. Конечно. Да. Ну, да. Конечно. Да, – ответил он и благодарственно-смущенно посмотрел на Анну, а та сначала кинула взгляд на академика, потом на сестру, гордясь ее красотой, ее свежестью, умелыми движениями ее рук, тем, как она ловко разливает водку, как непринужденно держит себя, как улыбается, и всем одинаково гостеприимно.

– Ученая она у меня. Ветеринарный врач, – склоняясь к Ивану Евдокимовичу, прошептала Анна.

– Ну! – воскликнул он. – Наверное, животные разом выздоравливают, увидав перед собой такого врача. Красавица. Вся в вас.

Анна потупилась, говоря:

– Где уж нам!.. Красоту-то ведь ум облагораживает, наука, а мы и буквы-то учились писать хворостиной на песке.

После сытных пельменей, в меру выпитого вина снова разгорелся поднятый Назаровым спор о преобразовании природы. Лагутин, выпив, пожалуй, больше всех и помрачневший, сказал:

– Поедьте... На месте спор закончим. В сад к вам заглянем, Анна Петровна... и на поливной участок завернем. Довезешь всех? – обратился он к Любченко.

– Громыхал твой выдержит? – спросил и Назаров, шумно встав из-за стола.

Елена только тут впервые опустила голову, говоря тихо:

– Меня, пожалуй, и не надо: дома побыть некому. А у нас даже замка нет – защелочка.

– Поедем, Лена, – взвешивающе глянув на Любченко, проговорила Анна. – Сегодня у нас такой счастливый день, что ни у одного вора не посягнет рука на воровство... да и нет их у нас – воров-то.

После этих слов Любченко благодарно посмотрел на Анну и, шагнув к двери, около которой стояла Елена, не спуская с нее глаз, произнес:

– Я готов, – давая этими словами всем знать, что он готов к выезду, а Елене, видимо, о чем-то своем, затаенном, известном только им двоим.

– Свадьба у них наклеивается, – подавая академику шляпу, тихо сообщила Анна. – Да не знаю как. Славный мужик... только порою уж больно пьет.

– Бросит, – уверенно ответил Иван Евдокимович.

Все ждали, что академик сядет на почетное место – рядом с шофером, но он категорически отказался и устроился на заднее сиденье, около Анны, рядом же с собой Любченко усадил Елену... И машина, громыхая, повизгивая, треща, тронулась с места, взяла на изволок и вскоре выкатилась в степь, жаркую и палящую, несмотря на позднюю осень.

5

Машина неслась по ровной степной дороге, гремя всеми деталями, и казалось, путникам невозможно вести разговор: грохот глушил все. Однако они говорили. О чем-то шептались, бросая друг на друга взгляды, Елена и Любченко; о чем-то спорили на откидных сиденьях Назаров и Лагутин, тихо переговаривались Анна и Иван Евдокимович. Молчал только Аким Морев, но ему было приятно видеть этих людей, эти степи, а еще краем уха он ловил то, о чем говорили Анна и академик.

– Хорошая сестра у вас: счастливая вы, Анна Петровна.

– Хорошая? Не влюбиться, Иван Евдокимович.

– Где уж нам... в такие годы...

– Годы-то? А они, оказывается, для сердца не помеха. Уж я думала: «Сорок лет тебе, Анна, конец сердцу жить». А оно недавно ожило, да так, что места себе не сыщу. Вот тебе и сорок лет.

Иван Евдокимович долго молчал, искоса посматривая на розовое, выглядывающее из-под каштановых волос, маленькое ухо Анны, затем, как бы между прочим, однако с дрожью в голосе, спросил:

– А он что же... к кому сердце-то льнет... отвернулся, что ль, от вас?

– Кто его знает, – быстро, видимо, ожидая такого вопроса, ответила Анна. – Может, и не отворотился бы... да положение заставляет. Я ведь что? В науке курица слепая, а он?... Он профессор.

– Вишь ты, профессор, – намеренно напыщенно произнес Иван Евдокимович, уже понимая, о ком идет речь. – Профессор. О-о-о. Это величина. Может даже академиком стать. Ишь ты. Да ведь, Анна Петровна, – серьезно закончил он, – сердца-то одинаковы, что у профессора, что у чабана, что у академика, что и у садовода-практика.

Анна положила маленькую, но загрубевшую от работы руку на его ладонь и еле слышно произнесла:

– Спасибо.

– Да. Да. Так. Да. Спасибо. Вам. Да, – проговорил Иван Евдокимович.

Аким Морев усмехнулся, думая: «Большой ребенок... опять междометиями заговорил...»

Назаров в эту минуту, оборвав спор с Лагутиным, крикнул Любченко:

– Направь свою громыхалу влево – на лесопосадки. Покажем академику, и пусть он нас, как высший судья, рассудит.

Машина заурчала, двинулась с дороги влево, навстречу южному ветру.

Лена посмотрела на сестру, вся просияла, как бы говоря: «Знаю, что с тобой...»

– Хорошая у вас сестра, – снова заговорил Иван Евдокимович.

И Анна тихо, но с упреком сказала:

– Что вы все о ней? Вы про меня-то хоть словечко скажите.

– О вас и говорю, Анна Петровна, – еле слышно произнес академик.

В эту самую секунду Елена неожиданно повернулась, даже запрокинула голову и посмотрела на Акима Морева долгим, проникающим взглядом.

«Сидит рядом с женихом, и такой взгляд на меня? Может, Любченко ей что-нибудь рассказал? И она, не успев погасить огня, принадлежащего Любченко, посмотрела на меня», – подумал Аким Морев и хотел было даже заговорить с Еленой, но машина, вздрагивая, как от лихорадки, остановилась у широкой полосы перепаханной земли.

– На суд приехали, Иван Евдокимович, – проговорил Назаров и выбрался из машины.

Вспаханная полоса земли – рыжая, как охра, была шириною метров в двести и тянулась вправо и влево, теряясь где-то далеко в степи. Первое, что бросилось в глаза, – это огромные, кулак уложится, трещины. Они вились и так и этак, походя на крупных змей. Между ними – тощенькие колосики пшеницы... и хиленькие, величиною с карандашик, дубки, на которых трепетали одинокие листики.

– И что же вы думаете? – спросил академик. – Ученики мои! – сдерживая досаду, подчеркнул он. – Что же вы думаете?

– Да вот, растет... дуб, – пугливо проговорил Назаров.

– Растет? Но вырастет ли? У вас, Анна Петровна, нет такого впечатления, будто нагих младенцев оторвали от груди матери и положили вот здесь, под удары суровой зимы? Говорят: «А ну посмотрим, вырастут... выдержат?» Чепуха! – резко произнес академик. – Не вырастут... Экие ученики. Нет, вы не ученики мои, а... а вредители. Гостеприимство у вас хорошее. Но я истину никогда еще не менял на баранчика... да и менять не намерен.

Все некоторое время стояли молча, ошарашенные резкими словами академика, а Аким Морев снова подумал: «Вот к чему приводит непродуманность, поспешность...»

– Иван Евдокимович, – прорвалось у Любченко. – Да разве это по нашей воле? Нам приказали распахать землю на такую-то глубину. Распахали. Посеять желуди так-то. Посеяли. Дальше инструкция гласит: засеять все пшеницей. Засеяли. И вот, видите – ни дуба, ни пшеницы, только трещины. Такая полоса тянется ведь километров на пятьдесят.

– А если бы вам кто-нибудь приказал всех двухдневных ягнят убивать да в овраг сваливать? Вы что ж, так и стали бы беспрекословно выполнять подобные указания? Хороший ученик тот, кто не только учится, но и своего учителя там, где надо, поправляет. А кричите: «Ученики! Ученики!» Руки учителю трясете так, что он боится, как бы ему их не выдернули любезные ученики. Отступили от основных принципов и кричат: «Мы ваши ученики!» Кому они нужны, такие ученики? Поехали на Докукинскую дачу. Там я вам покажу, чьи вы ученики.

Сев в машину, все притихли, только Лагутин сказал:

– Любченко, давай вправо... на Аршань-зельмень.

И машина затарахтела по степи, объезжая заросшие полыном кучки – строения сусликов. Жара со всех сторон обдавала молчаливых путников так, словно всюду дышали раскаленные печи... и вдруг откуда-то хлынула волна прохлады, затем опять жара и снова прохлада.

– Что это? – спросил Иван Евдокимович, встрепенувшись.

– А вот увидите... сейчас... через пару километров, – очевидно, намереваясь чем-то неожиданным победить академика, ответил Лагутин.

Машина промчалась еще какое-то расстояние, и перед изумленными Иваном Евдокимовичем и Акимом Моревым открылась долина, в которой блестело огромное водное зеркало Аршань-зельмень. Оттуда неслась прохлада, а около озера по зеленеющим луговинам паслись великолепные гурты овец, табуны рогатого скота, косяки коней, над зарослями камыша вились утки и плавно колыхались, редкие даже в этих местах, белые цапли.

Когда машина переправилась через плотину длиною метров в сто пятьдесят, академик выбрался на волю, посмотрел на обилие воды, сказал:

– Разумно. Даже талантливо сделано. Кто?

– Инженер Ярцев, – ответил Лагутин.

– Молодец. Где он?

– Умер недавно. Вон памятник ему поставили. – Лагутин показал на маленький обелиск, стоящий на возвышенности.

– Бедновато. Такому инженеру надо бы побогаче памятник поставить: действительно труженик науки. Да. Труженик. Перед таким любой из нас голову преклонит. Да. Вот это ученик. Да, – несколько раз повторил академик. – Ну, а где орошаемый участок?

– Сюда, влево, – почему-то сразу погрузнев, ответил Лагутин. – Надо ли вам туда?

– Надо! – закричал Назаров. – Пусть разругает. Пусть отвернется от нас учитель! Но надо! Надо!

– А я полагаю, сначала давайте на Докукинскую дачу, – вмешался Любченко, намеренно поддерживая Лагутина, понимая, что тот не хочет показывать академику поливные поля.

– Нет уж. Чего уж. Раз подъехали, посмотрим, – проговорил Иван Евдокимович. – Посмотрим, а потом на Докукинскую.

И вот перед ними в окружении вековой целины – дна бывшего моря – больше тысячи гектаров орошаемой земли. В полупустыне орошаемый участок, и рядом такие огромные запасы воды. Но... но почему здесь так глухо, безлюдно?

– В чем дело? – спросил академик. – Напоминает что-то заброшенное... как проклятое место. Кому принадлежит земля?

– Госфондовская, – осторожно ответил Назаров, боясь снова попасть во «вредители».

– Ну а кто пользуется ею?

– Семь колхозов, – скороговоркой ответил Назаров, надеясь, что академик не поймет нелепости, но тот прямо и грубовато сказал:

– Глупо. Все равно, что лучшую рекордистку корову передать семи дояркам: непременно испортят. И тут: плоды с поливных участков собрали и восвояси... Даже шалашей не построили.

– Да ведь и плодов-то не собрали, – чуть не плача, прокричал Назаров. – Как хотите, отворачивайтесь или не отворачивайтесь от меня, а скажу: горим. Озимую пшеницу посеяли. С осени была хороша, весной была хороша... Еще бы, в рост человека выросла... Поливали. Залили... А колос оказался пустой.

– Какой сорт? – спросил академик.

– Ваш сорт.

– Ну и?

– За шесть дней суховей высосал зерно.

– Так-так-так, – пробурчал академик. – Пойдите тут, а я посмотрю... один... – и зашагал вдоль канавы, удаляясь все дальше и дальше. Он шел, то и дело нагибаясь, ковыряя пахоту, черпая ее пригоршней, рассматривая и бросая землю, затем снова шагал, окутанный маревом, вырастая не то в глыбу, не то в копну: таков здесь степной мираж.

Вскоре академик вернулся и произнес:

– Обманщики!

Назаров понял: академик увидел, как быстро идет процесс засолонения земли на участке, и хотел было спросить, как бороться с этим неожиданным бедствием, но, испугавшись того, что снова может попасть в «обманщики», только шепнул Любченко:

– Давай на Докукинскую. Там, может быть, отмякнет: дед его сажал дубраву.

И опять степи-степи-степи, бугры – голые, выветренные, порыжевшие от раскаленных лучей солнца, бесконечное количество дюн, или, скорее, могильников, – это тысячелетие работы сусликов. И сколько земли? Столько земли – кричать от досады хочется.

– Как десять и пятнадцать тысяч лет назад люди пользовались этой землей, так ныне пользуемся и мы, – проговорил, ни к кому не обращаясь, академик, не замечая того, как погрузилась Анна: он, задумавшись, забыл о ее присутствии.

«А сказывал: “Сердце у всех одинаковое”. Видно, не одинаковое, если твоему сердцу страдания моего – потеха, как иным петушиная драка, – печально думает она, и лицо ее от внутренней тяжкой боли стареет: щеки поблекли, глаза затуманились, губы опустились, и от них вверх легли две крупные трещины-морщинки. – Это вон у них они одинаковые, – думала Анна, посматривая на сестру и Любченко, который то и дело касается плечом плеча Елены, и та не сторонится, наоборот, благодарно посматривает на водителя машины. – А может, они уже муж и жена, – спохватилась Анна. – Только нет, Лена никогда меня не обманет. Мужчины – те обманщики. Вот он – даже академик – сказал: “У всех сердца одинаковые”, – и обманул. А может, сам обманулся? Эх, Анна, Анна! В небо решила слетать, а вместо крыльев у тебя руки... Вот эти, поржавели от работухи. Ах, Анна, Анна! Свет тебе что-то стал не мил».

И перед ней невольно всплыло то теплое, родное, ушедшее от нее навсегда.

Ее муж, Петр Николаевич Арбузин, в противоположность ей, был тих, смирен: за неразговорчивость его прозвали молчальником. Собрания посещал он редко, а уж если приходил, то забивался в темный уголок и сидел там, дымя махоркой. Анна, наоборот, посещала все собрания, заседания, яростно и горячо выступала в прениях, и о ней в шутку говорили:

– За двоих бьется: Петр ей на всю жизнь слово свое передал, потому и молчит.

Но Петра на селе тоже уважали: он был мастер своего дела – великолепный плотник-столяр. Это он понаставил на улицах красивые дома, но лучше всех отделал свой домик с резным крылечком, с резными наличниками и с петухом на коньке. Петух вертелся во все стороны; и люди, глянув на него, определяли, откуда дует ветер.

– Башкан Петр, – сказали тогда о нем.

Анна посещала все собрания, заседания, но как только они кончались, она неслась домой и тут заставляла мужа обязательно за какой-нибудь работой: он или вытачивал ножки к стульям для клуба, или нарезал наличники и на вскрик Анны: «Петенька! Милый! Здравствуй, что ль: с утра не видела тебя», – растягивая губы в улыбке, туго выдавливал:

– Ну, этак... здравствуй... Анна Петровна.

Однажды вот так прибежав, она вдруг неожиданно для самой себя спросила:

– Петя! А ты... ты не гневаешься... по собраниям-то я ношусь?

Он опять растянул губы в улыбке и, глядя на нее такими чистыми глазами, какими, пожалуй, до этого никогда и не смотрел, произнес:

– Что ж? А я-то ведь перед мужиками... горжусь, мол, вон какая у меня жена... генерал.

И погиб Петр Николаевич в тысяча девятьсот сорок втором году под Москвой. Наверное, так же молча взял в руки винтовку и с открытой грудью пошел на врага.

Анна после этого было надломилась. И если бы не сад и не сын, истлела бы, как хворостинка, брошенная в костер. Сад спасал ее: заботы о нем вытесняли горестные думы. Спасал сын – тоже Петр и внешне похожий на отца, Петра Николаевича. Она любовь к мужу перенесла на сына, и Петр, чувствуя это, любя ее, всегда на каникулы приезжал к ней и при встрече, сильный и большой, гораздо выше матери, обнимая ее, говорил, как в детстве:

– Маманька! Соскучился-то как по тебе. Маманька!

А она, сдерживая рыдание, усаживала сына против себя, брала его крупные руки в свои, гладила их, прикладывала ладони к своим щекам и произносила постоянное:

– А ты вырос, Петяшка. Опять вырос, – хотя ему расти-то, пожалуй, уже было больше некуда.

Так она, вероятно, и смогла бы дожить до конца своих дней: выращивала бы сад, любила бы сына, участвовала бы в общественной жизни... но вот недавно случилось, видимо, что-то непоправимое: Анна полюбила Ивана Евдокимовича. Это не значило, что из ее души ушел образ Петра Николаевича. Нет. Разве это возможно? Но сердце полюбило вот этого, живого, сидящего рядом с ней.

«Эх, Анна, Анна! Гибель твоя пришла», – произнесла она про себя, и захотелось ей выпрыгнуть из машины и уйти в степи – в эти палящие, знойные степи.

Академик думал о своем: «Мы собираемся наступать на природу, а она наступает на нас, и с самых неожиданных сторон. С посадкой леса явно провалились, а тут это страшное – засолонение. Распахали, обработали, стали поливать... и, видимо, еще не знают – идет быстрый процесс засолонения. Да. Верно. Черные земли, Сарпинские степи, Заволжье – все это довольно молодое дно Каспийского моря: огромнейшие соляные озера, реки соленые, и в почве соли много. Да. Да. Мы там в Москве дискутируем, как вести наступление на природу, а здесь природа сама наступает на нас, и с самых неожиданных сторон» – так думал академик, забыв обо всех, кто сидел с ним в машине, и только в одном месте, когда машину неожиданно накренило и он невольно коснулся Анны, почувствовав тепло ее тела, подумал: «Ох, Аннушка! Здесь ведь ты», – затем ласково посмотрел на нее, и в эту секунду ему захотелось обнять ее, но он только сказал:

– Простите, Анна Петровна, разволновался я: ежели впереди дело, о всем забываю. А вот Анна Петровна загорюнила.

У Анны щеки вспыхнули румянцем, глаза заблестели, и она шепнула:

– В сад. Поедьте в сад, Иван Евдокимович... Горюшко-то ваше я разгоню-развею.

6

Здесь, в степи, любой овраг или реку увидишь только тогда, когда вплотную подступишь к берегу: берега настолько круты, что кажется, овраги и реки врублены в землю. Едешь, едешь – степи, степи, степи... и неожиданно нарываешься на овраг, на реку, речонку.

И сейчас во все стороны расстилались степи, перекаленные на солнце, усталые разными коврами трав... и вдруг завиднелись верхушки деревьев с редкой желтеющей листвой.

Аким Мореву странно было смотреть на эти верхушки: казалось, они поднялись со дна моря, – ведь степи кругом. Он даже высунулся в окно и спросил:

– Что это такое?

– Растут! А? Растут! – прокричал академик, а когда машина спустилась в овраг, заросший многолетними дубами, вязами, он вышел на полянку и, сняв шляпу, долго стоял, опустив голову. – Вот какой памятник Вениамин Павлович оставил по себе, – проговорил Иван Евдокимович и зашагал в чащу леса.

За академиком молча тронулись все.

Аким Морев, ступая по густым, увядающим, но еще сочным травам, вдыхал полной грудью свежесть воздуха, что после степной жары было очень приятно. Временами ему чудилось, что бродит он где-то в лесах Жигулевской долины, но, глянув в сторону и видя порывевший берег, переходящий в степи, он сразу возвращался сюда – в эти выжженные, полупустынные места.

В эту самую минуту из овражка, прорезающего крутой берег, вышел человек небольшого роста, широкий в плечах. Лицо от загара черное и глаза – угли.

– Ты шо? – с украинским акцентом спросил его Любченко, осторожно поглядывая на академика.

– Та ничего, – также с украинским акцентом ответил пришедший. – На солнце никому не запрещено глядеть. Ну, вот и гляжу, – не отрывая взгляда от академика, добавил он.

– Оно было спалило нас зараз, – тихо проговорил Любченко и громко возвестил: – Явился. Товарищ Иннокентий Савельевич Жук. Голова колхоза «Гигантомания».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.